

## Глава 7. Экологические следствия экономических трансформаций

«Социализм рухнул, потому что его цены не говорили правды об экономике. Капитализм может рухнуть, если его цены не будут говорить правду об экологии»

Эрнст Ульрих фон Вайцеккер, сопредседатель Римского клуба, 2002 г.

### 7.1. Пафос «покорения и преобразования»

Чтобы оценить влияние экономической трансформации на экологическую ситуацию в России, следует хотя бы бегло обрисовать «стартовые условия» — состояние окружающей среды в СССР и отношение к ней государства и общества.

При всех поворотах и зигзагах советской идеологии взгляд на природу в ней долгое время оставался неизменным, в значительной мере унаследованным еще от домарксистской субкультуры русских левых радикалов («Природа — не храм, а мастерская») и восходящий в конечном счете к идеям Просвещения. Природа мыслилась исключительно с точки зрения возможности ее использования человеком. В глазах советского руководства и управленцев советской формации это был косный материал — полезный, но лишенный всякой самооценности и внутреннего смысла и даже пользу способный приносить лишь после более или менее глубокой доработки. Такое отношение наиболее полно выразилось в лозунге «покорения и преобразования природы» — в интересах максимального удовлетворения нужд человека. Ни в идеологических документах, ни в управленческих решениях первых четырех десятилетий советского периода мы не найдем (за некоторыми исключениями, о которых подробнее будет сказано чуть ниже) упоминаний об «охране природы» или сходных понятий. Собственно, такие понятия, как «природа» или «окружающая среда», отсутствуют в них вовсе — упоминаются только «природные ресурсы» и их отдельные виды (лес, воды) и только как объект собственности (естественно, государственной), подлежащий рациональному использованию.

Впрочем, не стоит преувеличивать роль идеологии — по мере становления советской системы она играла все более ритуальную роль, постепенно превращаясь в декорацию, скорее маскирующую основные механизмы и приоритеты складывающейся общественно-политической системы, чем как-то влияющей на их структуру. Гораздо важнее была внутренняя логика развития этих механизмов. В условиях сосредоточения всех ресурсов в руках жестко авторитарного режима и направления их на задачу ускоренной технической модернизации страны окружающая среда могла рассматриваться только как ресурс (и бесконечная емкость для сброса отходов) — что бы ни говорилось на эту тему в законах и решениях партийных съездов. Этому же способствовала и сложившаяся в 1930-е годы *отраслевая* система управления народным хозяйством, неизбежно предопределявшая экстенсивный путь развития экономики — и прежде всего добывающих отраслей. Предприятия, деятельность которых оценивалась исключительно по выпуску их профильной продукции, никак не были заинтересованы в снижении экологических издержек своего производства — благо никаких обязательных нормативов на этот счет не существовало. Земля, вода и прочие необходимые для производства ресурсы отводились предприятиям бесплатно, при принятии решений о таких отводах рассматривались какие угодно соображения, но только не экологические. Нормальной практикой считался сброс промышленных отходов прямо в естественные водоемы без какой-либо очистки (особенно если это не грозило немедленным массовым острым отравлением населения, жившего по

берегам «сточных» водоемов — т. е. если отходы были не слишком токсичными, а их объем был достаточно мал, чтобы по дороге до населенных пунктов они успели разбавиться до «безопасных» — т. е. не вызывающих явной острой патологии — концентраций).

Определенные нормы существовали только в отношении источников питьевой воды и состояния воздуха в крупных городах, но и на их регулярные нарушения обычно закрывали глаза, особенно в городах и поселках, полностью «завязанных» на предприятия: не только экологические, но даже санитарно-гигиенические требования считались второстепенными по сравнению с нуждами производства. Положение дополнительно обострилось с началом войны, в первый период которой тысячи предприятий были эвакуированы из западных регионов СССР и в кратчайшие сроки развернуты на наспех выбранных и подготовленных площадках — естественно, в ходе этой работы об экологических последствиях никто не думал.

Хотя, как уже было сказано, уже сами характерные черты советского способа хозяйствования и управления экономикой предопределяли природоразрушительный характер того и другого независимо от намерений и решений политического руководства страны, к этому добавлялись и намеренные действия, продиктованные все тем же «ресурсным» подходом. Надо сказать, что взгляд на природу исключительно как на экономический ресурс (и вытекающие из него проекты «разумного преобразования» природы) был распространен не только в среде советских управленцев и не только в пределах СССР. Так например, во многих странах мира (и прежде всего индустриально развитых) в первой половине XX века стали весьма популярны идеи «обогащения» местной флоры и фауны, т. е. акклиматизации несвойственных данным регионам видов. Причем инициатива этих проектов часто исходила от ученых — зоологов и ботаников. Но в Советском Союзе 1920—1930-х годов увлечение акклиматизацией, поддержанное всей мощью государства, приобрело особо крупные масштабы: в 1920—1940-х годах в стране были предприняты тысячи попыток такого рода (одних только выпусков различных видов рыб в несвойственных для них местах обитания было около полутора тысяч), объектами которых стали сотни видов животных — млекопитающих, птиц, рыб, насекомых, моллюсков и даже кольчатых червей. Масштабы акклиматизации растений вообще никто не учитывал. Если называть вещи своими именами, в стране происходило намеренное и широкомасштабное *биологическое загрязнение* окружающей среды. Как известно, биологическое загрязнение отличается от всякого другого тем, что его действие не всегда можно потом нейтрализовать или компенсировать: если радионуклиды или химические загрязнители после прекращения их поступления извне рано или поздно разложатся, будут захоронены в донных осадках или на худой конец разбавлены до относительно безопасных концентраций, то успешно интродуцированный однажды чужеродный вид может не только неограниченно долго воспроизводить себя, но и распространяться дальше самостоятельно. Один из примеров такого прогрессирующего загрязнения, созданного в описываемый период, хорошо знаком даже тем, кто никогда не интересовался вопросами охраны окружающей среды: в конце 1940-х годов в средней полосе России был акклиматизирован борщевик Сосновского — гигантское травянистое растение с Кавказа. Будучи поначалу высеваемо на поля в качестве кормовой культуры (на силос), это гигантское зонтичное уже в 1960—1970-е годы начало распространяться самостоятельно, занимая любые участки, где отсутствует плотная злаковая дерновина: пашни, тракторные колеи, обочины дорог и т. д. При этом выяснилось, что на участках кожи, на которые попал сок борщевика, под действием прямых солнечных лучей образуются болезненные и плохо заживающие ожоги. К XXI веку этот инвазивный вид, захвативший более миллиона гектаров, превратился в одну из тяжелейших проблем европейской России (и ряда других стран Восточной и Северной Европы). Интересно, что инерция восприятия его как «достижения» оказалась столь велика, что лишь в 2015 году этот опаснейший сорняк был официально исключен из числа *сельскохозяйственных культур*.

Разумеется, акклиматизационными проектами «преобразование природы» не ограничивалось. Сюда относится и начало масштабного гидростроительства и мелиорации, и массовое осушение торфяников (не только приведшее к обмелению и пересыханию множества ручьев и малых рек, для которых торфяные болота были естественными стабилизаторами стока, но и заложившее гигантскую мину, сработавшую спустя десятилетия, когда торфоразработки были заброшены и осушенные беспризорные торфяники превратились в сплошной склад горючего материала, готовый в засушливое лето полыхнуть катастрофическими пожарами — как это было в 1972 и 2010 годах), и многое другое. Своего рода апогеем этой «экологической политики» должен был стать знаменитый «сталинский план преобразования природы», согласно которому всю степную и лесостепную зону европейской части страны предполагалось покрыть густой сетью лесополос (основой которой должны были стать восемь гигантских государственных лесополос, тянувшихся на тысячи километров) и искусственных водоемов. По замыслу инициаторов проекта, этим циклопическим объектам «преобразованной природы» предстояло преградить дорогу дующим из Средней Азии суховеям. Трудно сказать, какое реальное влияние оказал бы на окружающую среду этот план, будь он реализован. Работы по плану, начатые в 1949 году, должны были завершиться к 1965-му, но фактически были свернуты сразу после смерти Сталина — в 1953-м. Даже за эти четыре с небольшим года было посажено, согласно официальным данным, в 2,5 раза больше деревьев, чем за предыдущие почти 250 лет существования российского лесного ведомства. Но уже к 1956 году в живых оставалось немногим больше 4% деревьев. Сейчас уже никто не скажет, в какой степени столь жалкий итог был обусловлен безумной агротехникой посадок (в основе которой лежало фирменное ноу-хау незабвенного Т. Д. Лысенко — «гнездовой способ», на практике приводивший к тому, что искусственно загущенные проростки отнимали друг у друга и без того дефицитную почвенную влагу и в итоге гибли все), в какой — элементарной неумелостью наспех набранных «лесоводов», никак не заинтересованных в конечном результате своего труда и ориентированных только на количественные показатели, а в какой — тем, что часть «насаждений» с самого начала существовала только в отчетах. Но так или иначе самое масштабное практическое воплощение советского подхода к природопользованию кончилось фактически ничем — не считая огромных затрат денег и труда. Впрочем, бесславно скончавшийся проект «преобразования природы» тут же сменил другой, уже откровенно экстенсивный — «освоение целинных и залежных земель», с экологической точки зрения означавший ликвидацию последних крупных массивов евразийской степи.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что в СССР — по крайней мере, в первые четыре десятилетия существования советской системы — *экологическая политика* отсутствовала вовсе (и даже сама надобность таковой не осознавалась руководством страны), а *политика природопользования* определялась грубо экстенсивной моделью хозяйствования и развития и взглядом на природу как на неисчерпаемый источник дармовых ресурсов. Казалось бы, такая ситуация исключает даже саму постановку вопроса об охране природы. (Косвенно это подтверждается типичной фразой, которую энтузиасты природоохранного дела регулярно слышали от советских функционеров самого разного уровня и профиля: «Охранять природу? От кого — от нашего советского человека?!») Тем не менее, как ни странно, некоторая природоохранная деятельность в СССР была и порой даже достигала заметных успехов. Уже в 1920-е годы в СССР были начаты работы по восстановлению численности отдельных ценных видов промысловых животных — в частности, лося, соболя, европейского бобра, — благодаря которым эти виды за несколько десятилетий превратились из находящихся на грани полного истребления в более-менее благополучные. В 1920-х годах советские зоологи и охотоведы пытались (к сожалению, безуспешно) сохранить последнее в мире стадо вольных зубров, а с 1940-х годов включились в международную программу восстановления этого вида. Если во всех этих случаях речь шла о сохранении «объектов охотничьего промысла» (хотя бы потенциальных), т. е. о животных, которые могут рассматриваться как полезные, то совершенно непонятны мотивы, по которым в 1947 году

был введен полный запрет охоты на тигров: в рамках советского взгляда на природу тигр — животное безусловно вредное, наносящее ощутимый ущерб скотоводству и реально опасное для человека. Тем не менее запрет был введен — и буквально в последний момент спас амурского тигра от окончательного истребления (но уже не успел спасти тигра туранского — последние единичные свидетельства его существования на территории СССР относятся как раз к концу 1940-х годов).

Пожалуй, наиболее заметным проявлением государственной природоохранной деятельности стало развитие сети государственных заповедников и сама модель советского заповедника, сильно отличающаяся от природных резерватов развитых стран. По сути дела вся история государственных заповедников относится к советскому периоду: первый отечественный заповедник — Баргузинский — был официально учрежден за месяц до крушения империи, в январе 1917 года (понятно, что фактически работать он начал лишь несколькими годами позже). В дореволюционные времена было спроектировано еще несколько заповедников, созданных уже в советский период, а главное — разработана концепция государственного заповедника. Если в западных странах (прежде всего в США, где были созданы первые *национальные парки*) природные резерваты создавались по эстетическим соображениям и в рекреационных целях, а в колониях — в целях восстановления поголовья объектов охоты, то российская модель трактовала заповедник как *эталон нетронутой природы*, необходимый для оценки воздействия человека на природу на других территориях и в конечном счете — для разработки оптимальных форм природопользования. Из этого следовало требование максимальной (в идеале — абсолютной) неприкосновенности заповедной территории и статус заповедника как прежде всего *научного* учреждения, ведущего регулярный мониторинг состояния природных систем.

Именно такое представление о заповеднике было предложено энтузиастами-учеными советскому государству — и не только не было отвергнуто или пересмотрено, но и получило развитие в масштабах, на которые основоположники заповедного дела вряд ли могли рассчитывать: к концу 1940-х годов в СССР действовали 128 государственных заповедников общей площадью 12,6 млн га. Неприкосновенность их территории и другие требования заповедного режима обеспечивались всей репрессивной мощью тоталитарного государства. Заповедная система развивалась словно бы в параллельном мире — на ней почти не сказывались ни причудливые повороты «генеральной линии партии», ни объективная эволюция советской системы управления и хозяйствования. Даже политические репрессии второй половины 1930-х годов коснулись их в минимальной степени.

Однако такое странное положение не могло сохраняться до бесконечности. Уже в конце 1940-х годов в политическом и хозяйственном руководстве страны начала витать (и понемногу набирала силу) идея радикального наступления на сеть заповедников. Свое практическое воплощение она получила в августе 1951 года, когда постановлением союзного правительства (за подписью Сталина) из 128 заповедников 88 были ликвидированы полностью, а площадь уцелевших была сильно урезана, так что общая заповедная территория сократилась в 9 раз. Особенно сильно пострадали заповедники в староосвоенных регионах СССР, в том числе в европейской части России. Земли, изъятые у заповедников, лишались всякого охранного статуса и передавались в хозяйственное использование на общих основаниях.

Современные деятели охраны природы, обращаясь к этой трагической странице истории, видят причину разгрома заповедной системы в аппетитах ресурсных ведомств (прежде всего лесной промышленности), не желавших и неспособных отказаться от экстенсивной модели развития, для которой в староосвоенных районах страны просто не оставалось места, и стремившихся получить контроль над землями заповедников для продолжения территориальной экспансии. Это подтверждается и дальнейшей судьбой земель, лишенных заповедного статуса, и тем, что главным лоббистом разгрома заповедной системы в правительстве был тогдашний министр лесного хозяйства СССР А. И. Бовин. Никким образом не оспаривания такую интерпретацию, отметим только, что у разгрома 1951

года был и другой контекст. Именно на рубеже 1940—1950-х в стране прошел или был подготовлен целый ряд идеологических кампаний, результатом которых стал (или должен был стать) разгром крупных областей фундаментальной науки: генетики, эволюционной биологии и цитологии (1948 г.), физиологии и наук о поведении (1950 г.), теоретической физики (подготовлен в 1949 г., но в последний момент негласно отменен). В ряде других областей науки (геологии, химии и др.) были выдвинуты и получили политическую поддержку государства крайне сомнительные «альтернативные» теоретические трактовки важнейших вопросов, сопровождавшиеся политическими нападками их адептов на общепринятые научные взгляды. Иными словами, разгром заповедной системы был проведен в ситуации, когда политическое руководство страны ясно и недвусмысленно демонстрировало, что не желает более считаться не только с мнением научного сообщества, но и с наукой как таковой.

## 7.2. Бессилие всевластия

Разгром заповедной системы и форсированное освоение целины стали пределом проявления экологического нигилизма, характерного для первых 40 лет советского периода истории. Во второй половине 1950-х годов идея охраны природы понемногу начинает проникать в круг представлений советского политического руководства. Трудно сказать, что стало причиной такого поворота: гигантские пыльные бури на целине, ухудшение качества воздуха и воды в крупных городах или просто постепенная смена поколений советских управленцев всех уровней. О существенной роли последнего фактора свидетельствует то, что самые ранние публичные проявления этого процесса стали заметны не на союзном, а на республиканском уровне — что говорит о том, что высшее политическое руководство страны не было инициатором этой деятельности (хотя, безусловно, санкционировало ее — без такой санкции она была бы просто невозможна). В конце 1950-х годов одна республика за другой принимают республиканские законы об охране природы. Причем процесс этот начался с республик «периферийных» и небольших по территории: первой такой закон приняла в 1957 году Эстония; до конца десятилетия ее примеру последовали Армения, Грузия, Молдавия и Литва. В 1960 году такой закон был принят в РСФСР, а к 1963 году аналогичные нормы существовали уже во всех союзных республиках (союзный закон об охране природы так и не был принят до конца существования СССР). В это же время принимается (в основном опять-таки на республиканском уровне) и ряд других природоохранных норм — в частности, законодательно запрещается отстрел хищных птиц. С 1969 года природоохранные мероприятия стали включаться в республиканские пятилетние планы, а с 1975 года — и в союзные. Слова об охране природы замелькали в директивах партийных съездов, в постановлениях ЦК КПСС и Совета министров, в ведомственных нормативных актах; соответствующие пункты были внесены даже в союзную конституцию 1977 года. В сентябре 1972 года вопросам охраны окружающей среды была посвящена специальная сессия Верховного совета СССР.

Изменения наметились не только в политике и риторике советской бюрократии, но и в настроениях общества — по крайней мере, наиболее продвинутой его части. В самом конце 1960 года на биофаке МГУ была создана (без какого-либо указания «сверху», по инициативе самих студентов) первая в стране студенческая дружина охраны природы. Со временем такие дружины появились во многих советских вузах — в основном, конечно, биолого-географического профиля, но не только (так, например, сильная дружина существовала в МФТИ). Через них прошли десятки тысяч будущих ученых и специалистов, впоследствии выходцы из дружин оказались ценнейшим кадровым резервом для государственных и негосударственных природоохранных организаций. Отношения с официальными советскими институтами у дружин, как и у любых действительно *добровольных* организаций и инициатив, складывались негладко — случались и серьезные конфликты, и попытки «организовать и возглавить», — но во всяком случае за всю историю их сосуществования не

было попыток тотального запрета и разгона. Более того — в большинстве вузов, где существовали дружины, их деятельность признавалась «общественной работой», и комитеты комсомола включали ее в свои отчеты.

И тем не менее последние десятилетия существования СССР были в целом временем дальнейшего ухудшения состояния окружающей среды в стране. И дело было даже не в том, что «экологизация» сознания советской номенклатуры шла медленно, непоследовательно и с нередкими рецидивами прежнего «ресурсно-присваивающего» подхода к природе. (Так, например, в 1961 году произошел второй разгром системы заповедников, имевший меньшие масштабы по сравнению с первым только потому, что сама сеть заповедников была намного меньше — она еще не восстановилась после разгрома 1951 года. То, что ликвидация и сокращение заповедников были прямым нарушением законов об охране природы, уже принятых к тому времени в большинстве республик, никого не смутило.) Главная причина была в другом. Если в предыдущий период субъективное отношение советских руководителей к природе как исключительно к источнику ресурсов вполне гармонировало с объективной логикой развития советской экономики и советского способа хозяйствования, то начиная с конца 1950-х эти стороны процессы стали все более не совпадать друг с другом. Субъективно советские руководители нового поколения все больше осознавали необходимость изменения отношения к окружающей среде, уменьшения негативного воздействия на нее, принятия мер для восстановления уже разрушенного и т. д. Но само устройство советской экономики и системы управления ею объективно требовало продолжения наступления на природу, более того — расширения масштабов такого наступления. И, как и следовало ожидать, объективная логика системы перевешивала все благие пожелания — даже закрепленные в законах, пятилетних планах и решениях съездов.

Во-первых, в оценке деятельности предприятий показатели выпуска продукции (причем практически исключительно количественные) по-прежнему имели *абсолютный приоритет* перед любыми другими требованиями — в том числе и экологическими. На практике это выливалось не только в то, что если ради выполнения плана требовалось нарушить те или иные экологические нормативы (например, распахать речную пойму чуть ли не до уреза воды, чтобы увеличить площадь посевов — и, следовательно, валовый урожай), это немедленно делалось, но и, например, в том, что в лесной и рыболовецкой отрасли (как и во всех прочих) предприятия и работников премировали за *перевыполнение планов* (которые — опять-таки как и во всех прочих отраслях — неуклонно росли от года к году и от пятилетки к пятилетке) — хотя по сути дела это означало поощрение *перерубов и переловов*, т. е. грубых нарушений экологических ограничений, ведущих к подрыву запасов добываемого ресурса.

Во-вторых, полное огосударствление экономики и жестко централизованное управление ею, построенное по отраслевому принципу, привели к тому, что отраслевые ведомства превратились в гигантские корпорации-монополисты. К описываемому времени они стали самодовлеющей силой, деятельность и развитие которой все менее контролировалось политическим руководством. В нерыночной экономике финансовой основой их функционирования могли быть только бюджетные ассигнования, а наиболее эффективным способом их получения — разработка и «проталкивание» крупномасштабных технических проектов. В результате ведомства-корпорации, созданные некогда для реализации задач, поставленных политическим руководством, чем дальше, тем больше сами ставили себе задачи, ориентируясь не на реальные нужды страны и ее экономики, а на собственные возможности и потребности (прежде всего на необходимость загрузить чем-то огромные производственные мощности, сосредоточенные в этих ведомствах). При этом даже экономическая эффективность очередного проекта часто была явно притянута за уши (в лучшем случае — основана на достаточно сомнительных предположениях), об экологической же цене проекта речь обычно не шла вовсе. Такой подход проявлялся в деятельности едва ли не всех производственных ведомств — во всяком случае всех добывающих отраслей, — но наиболее полно этот монструозный образ воплощало

Министерство мелиорации и водного хозяйства. Ряд его проектов 1960—1980-х годов — таких, как широкомасштабное осушение полесских болот или перекрытие каспийского залива Кара-Богаз-Гол, — при огромных затратах и очень тяжелых экологических последствиях не дали вообще никакого экономического эффекта. Что и не удивительно, поскольку эти работы были затеяны ради самих работ.

Об отношении ведомств-монополистов к обоснованности своих гигантских проектов можно судить по истории с печально знаменитым проектом «поворота рек», т. е. переброски части стока Печоры и Вычегды в бассейн Камы. Как известно, первоначально проект обосновывался необходимостью предотвратить пересыхание Каспийского моря (уровень которого перед этим действительно снижался на протяжении ряда лет, хотя причины этого снижения оставались предметом дискуссии). Однако к тому времени, как проект был утвержден, падение уровня моря сменилось подъемом, и «пересыхающий» Каспий уже регулярно затапливал прибрежные поселки в Дагестане. Тогда было срочно составлено новое технико-экономическое обоснование: переброска воды из северных рек позволит поднять уровень воды в водохранилищах волжского каскада и в результате получить дополнительную электроэнергию. Если учесть, что Печора и Вычегда — реки равнинные и абсолютная высота их русел над уровнем моря не превышает высоту русла Камы, такое ТЭО означало ни более ни менее как отмену закона сохранения энергии.

Такого рода казусы (и куда более частые и рутинные нарушения уже действовавших в то время нормативов, в том числе и экологических) были возможны из-за специфической особенности советской системы управления: в компетенцию профильных ведомств часто включались не только вопросы *использования* переданного в их ведение природного ресурса, а *вообще все* вопросы, связанные с этим ресурсом, — в том числе и контроль за соблюдением установленных правил и ограничений. Иными словами, большинство советских ведомств-монополистов *контролировали сами себя* и не подлежали какому-либо независимому контролю. Понятно, что такая система контроля могла с большим или меньшим успехом пресекать злоупотребления конкретных исполнителей или посторонних субъектов (браконьеров), но сколько-нибудь эффективно ограничивать деятельность корпорации как таковой (и прежде всего — проработку и реализацию крупных проектов и целевых программ) она не могла в принципе. Более того — такой способ контроля позволял руководителям ведомств фильтровать информацию, которая поступала в вышестоящие инстанции, и даже прямо дезинформировать последние, не опасаясь быть уличенными даже в самых очевидных фальсификациях.

В принципе «верхи» могли бы получать независимую информацию о состоянии окружающей среды и воздействии на нее (как уже свершившемся, так и прогнозируемом) от научно-исследовательских организаций. В 1960—1980-е годы во многих научно-исследовательских учреждениях существовали лаборатории и отделы (а в вузах — кафедры), занимавшиеся экологической тематикой, в том числе и прикладной. Значительная часть их (прежде всего те, что входили в состав институтов АН СССР и вузов) не зависела административно от ресурсных ведомств. Сотрудники этих подразделений не только готовы были предоставить имевшуюся у них информацию, но зачастую сами старались довести ее до сведения высшего руководства страны. Однако здесь сказывалась еще одна особенность советской системы управления: практически вся информация, касающаяся состояния окружающей среды (не только исходившая от академических и вузовских структур, но и собираемая Госкомстатом, Госкомгидрометом, Санэпиднадзором и другими государственными учреждениями) не подлежала публикации в открытой печати. В большинстве случаев это был гриф ДСП, т. е. формально эта информация не относилась к секретной, но ее невозможно было получить без допуска, а те, кто имел доступ к этим материалам, не могли опубликовать в открытой печати содержащиеся в них сведения. Гриф ДСП получали даже *зарубежные* издания и публикации, содержавшие данные о состоянии окружающей среды в СССР (что ясно показывает, что гипертрофированная секретность была направлена отнюдь не на безопасность страны, а на обеспечение аппаратных интересов

ведомств-монополистов). Казалось бы, руководство страны могло без труда получить информацию любой степени секретности. В действительности же такой режим означал, что первичная информация, получаемая полномочными государственными службами и научно-исследовательскими организациями, оставалась не востребованной: ясно, что ни заведомо ЦК, ни зампред Совета министров, не говоря уж о руководителях еще более высокого ранга, не будут заниматься сведением воедино данных из разных источников, их обобщением и анализом (а тем более проверкой их достоверности). На практике это означало, что «секретная» информация, изданная тиражом 20 — 200 экземпляров, прямоком отправлялась в архивы получавших ее ведомств, никем не обобщенная и не проанализированная.

Все это вместе приводило к тому, что состояние окружающей среды в СССР в 1950—1980-х годах продолжало неуклонно ухудшаться несмотря ни на конституцию и законы, ни на постановления ЦК и Совмина, ни на введение экологических требований и нормативов, ни даже на начатую в первой половине 1980-х годов подготовку создания общесоюзного природоохранного ведомства.

### 7.3. Время больших надежд

С началом перестройки экологические проблемы внезапно вышли на первый план общественной жизни. Экологическая тематика оказалась первым «полем», на котором стали возможны публичные протесты и вообще открытое выражение собственного мнения. Под огонь публичной критики вполне предсказуемо первыми попали масштабные гидротехнические проекты и прежде всего — вышеупомянутый проект «поворота рек».

Здесь следует уточнить, что этим словосочетанием именовались два отдельных крупномасштабных проекта: один из них, как уже говорилось, предусматривал переброску части стока крупнейших рек европейского Севера в бассейн Волги, а другой — переброску вод Оби и Иртыша в Казахстан и далее в Среднюю Азию. Целью последнего было расширение поливного земледелия и прежде всего — плантаций хлопчатника, который в СССР рассматривался как стратегическая культура. Кроме того, предполагалось, что вода сибирских рек позволит остановить деградацию Аральского моря, вызванную тем, что практически весь сток питающих его рек — Сырдарьи и Амударьи — оказался разобран на нужды орошения. Проекты развивались более или менее независимо друг от друга, но их объединяла общность идеологии, ведомство-инициатор, культура проектирования (в частности, методы оценки экономической целесообразности и воздействия на окружающую среду) и многое другое. В результате в общественных дискуссиях, развернувшихся в 1985—1986 гг., они выступали как бы «в связке». Общей оказалась и их судьба: в августе 1986 года ЦК КПСС принял постановление о прекращении всех работ по обоим проектам.

Надо сказать, что ряд специалистов, а также именитых ученых и писателей пытался сопротивляться проектам «поворота рек» практически с момента их выдвижения в начале 1970-х, и это сопротивление не прекращалось все последующие годы. Но в основном оно выражалось в коллективных письмах в различные инстанции (ЦК КПСС, Совет министров, Президиум АН СССР и т. д.) и разного рода кулуарных хлопотах и не имело сколько-нибудь широкого общественного резонанса. В новых условиях это подспудное сопротивление переросло в публичную кампанию протеста, поддержанную огромным числом самых разных людей. Успешное предотвращение «поворота рек», в свою очередь, стимулировало стремительный рост экологических протестов: граждане почувствовали, что могут не только открыто высказывать свое мнение, но и реально влиять на решения, принимаемые руководством страны.

Дополнительным катализатором массовых протестов стала разразившаяся 26 апреля 1986 года Чернобыльская катастрофа. Чернобыль резко изменил массовое отношение советских людей к ядерной отрасли: если до катастрофы даже экологические активисты в отличие от своих западных единомышленников не обращали на эту отрасль особого внимания (поскольку экологический ущерб от нормально работающей АЭС весьма невелик



и во всяком случае несопоставимо меньше ущерба от производства того же количества электроэнергии на тепловых — особенно угольных — электростанциях или от постройки новой ГЭС), то после случившегося атомная отрасль стала восприниматься как предельно опасное производство. Атомная энергетика вступила в полосу длительной стагнации (не только в СССР, но и во всем мире), реализация новых проектов была надолго заморожена, а в Армении была даже остановлена действующая АЭС (вновь запущенная во время Карабахской войны и энергетической блокады Армении). Предубеждение же общества против «мирного атома» сохраняется и до сих пор и лишь несколько утратило остроту.

Волна массовых протестов накрыла не только проекты, находившиеся в стадии разработки или подготовительных работ, но и уже осуществленные. Нам сейчас нет надобности рассматривать ни степень обоснованности требований протестующих в каждом конкретном случае, ни роль этого этапа и рождавшихся на волне экологического протеста общественных организаций в дальнейшей политической эволюции советского общества. Для нашей темы важно, что этот всплеск массовой озабоченности состоянием окружающей среды реально изменил ситуацию в этой области. И хотя добиться остановки действующего предприятия было значительно труднее, чем прекратить работу над еще не воплощенным проектом (один из самых «популярных» объектов экологических протестов второй половины 1980-х — Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат — был окончательно остановлен только в конце 2013 года), волна массовой экологической активности в целом если и не привела к улучшению состояния окружающей среды в стране, то по крайней мере значительно замедлила ее дальнейшее ухудшение.

Пожалуй, еще важнее по своим долгосрочным последствиям был другой, косвенный эффект: резкое усиление экологической озабоченности в обществе и массовые протесты побудили власти всех уровней наконец-то перейти от благих пожеланий и лозунгов к внятной и систематической экологической политике. Наглядным проявлением этого стало создание профильного союзного ведомства: 7 января 1988 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли совместное постановление «О коренной перестройке дела охраны природы в стране», предусматривавшее создание союзно-республиканского Государственного комитета СССР по охране природы (Госкомприрода СССР). Спустя девять дней вновь учрежденный госкомитет начал свою деятельность.

Само по себе создание нового ведомства, конечно, ничего принципиально не меняло. Собственно говоря, это была обычная для советской системы управления реакция на любую крупную проблему: создать очередную бюрократическую структуру и возложить на нее ответственность за решение проблемы. За десятилетия регулярного применения этот подход доказал свою принципиальную неэффективность. Однако на сей раз появление профильного ведомства действительно дало заметный положительный эффект. Во-первых, госкомитет получил полномочия контролировать воздействие на окружающую среду большинства предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности. Фактически это означало появление вневедомственного контроля и разрывало порочный круг традиционной советской системы управления, при которой не только каждое ведомство, но фактически и каждое предприятие само контролировало соблюдение экологических норм. Хозяйствующим субъектам волей-неволей приходилось привыкать обращать внимание на экологическую сторону своей деятельности, которую они до того просто не воспринимали всерьез. Во-вторых, одной из функций Госкомприроды стала организация *независимой экологической экспертизы* всех предлагаемых к реализации народнохозяйственных проектов и программ. При этом задачей госкомитета было только формирование экспертной комиссии (т. е. подбор специалистов, которые должны оценивать воздействие проекта на окружающую среду) и техническое обеспечение ее работы. Сами же эксперты ни административно, ни экономически не зависели от природоохранного ведомства, играя роль своего рода присяжных. Это стало еще более мощным стимулом, побуждавшим хозяйственников думать об экологической стороне своей деятельности — особенно после того, как в ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял постановление «О неотложных мерах экологического

оздоровления страны», согласно которому с 1990 года финансирование любых работ по всем проектам и программам разрешалось открывать «только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы». Впрочем, в этот период новых проектов в СССР уже становилось все меньше и меньше: как раз в 1990 году темпы экономического роста впервые стали отрицательными — т. е. началось падение производства. В этой ситуации государство уже просто не могло финансировать сколько-нибудь крупные проекты, а других серьезных инвесторов в стране в то время не было.

Роль Госкомприроды СССР не сводилась только к организации экологической экспертизы и текущему экологическому контролю деятельности предприятий. После того, как в августе 1989 года председателем госкомитета стал крупный ученый-биолог Николай Воронцов, на работу в это ведомство удалось привлечь людей, лично заинтересованных в решении экологических проблем и обладающих необходимой квалификацией (а часто и опытом природоохранной работы в общественных организациях). В этот период в госкомитете был разработан целый ряд нормативных документов, принятых уже в постсоветский период российскими органами законодательной власти. Парадоксальным образом *формирование* внятной и цельной экологической политики в стране стало возможно лишь тогда, когда стремительно сокращались возможности ее *реализации*. Советская административно-экономическая модель разваливалась, союзные власти теряли возможность управлять как предприятиями и отраслями, так и территориями. И повышение статуса госкомитета до Министерства природопользования и охраны окружающей среды (с 1 апреля 1991 года) уже не могло ничего изменить. Всего через пять месяцев грянул путч ГКЧП, после провала которого союзные органы власти оказались окончательно парализованы. В ноябре того же года союзное министерство было официально упразднено, а месяц спустя упраздненным оказался и сам СССР.

#### 7.4. Политика на вырост

Распад союзного государства практически совпал по времени с началом реальных экономических реформ в России. Среди неотложных задач, которые пришлось решать российскому руководству, на чьи плечи внезапно свалилась вся полнота власти и вся ответственность за положение в стране (переживавшей в это время самую острую фазу всестороннего кризиса), экологические проблемы отнюдь не были и не воспринимались как первоочередные. Ситуацию дополнительно осложняло начавшееся вскоре противостояние законодательной и исполнительной властей (разрешившееся вооруженным конфликтом осенью 1993 года). Начавшееся было в последние два-три года существования СССР формирование государственной экологической политики вновь лишилось сколько-нибудь последовательного внимания государства.

Как ни странно, некоторые направления природоохранной деятельности в этой ситуации не только не были парализованы, но даже получили некоторые специфические возможности, которые они вряд ли имели бы в более спокойной и стабильной обстановке. В первую очередь это относится к законо- и нормотворческой деятельности. Уже 19 декабря 1991 года (т. е. в дни между подписанием Беловежских соглашений и официальным роспуском Советского Союза) российский Верховный Совет принял закон «Об охране окружающей природной среды» (к доработке которого он дважды возвращался в последующие полтора года). В 1992—1996 гг. был принят ряд важнейших природоохранных законов — «Об охране атмосферного воздуха», «О заповедниках», «Об экологической экспертизе» и другие, — а также Земельный и Водный кодексы, содержащих разделы о защите соответствующих ресурсов от вредных антропогенных воздействий. В состав федерального законодательства вошли такие важнейшие нормы, как запрет на засекречивание информации о состоянии окружающей среды, принцип платности пользования природными ресурсами и обязательной платы за загрязнение окружающей среды (в том числе и в пределах нормативов — что побуждало хозяйствующие субъекты

искать возможности сокращения выбросов). В это же время разрабатывается более 20 федеральных целевых программ, направленных на решение самых острых и неотложных экологических проблем: нейтрализацию ядерных и других особо опасных отходов, обеспечение контроля радиационной обстановки на всей территории страны, предотвращение выброса диоксинов, улучшение экологической ситуации в отдельных наиболее «грязных» городах, выполнение международных обязательств страны и т. д. По сути дела именно в этот период в стране впервые появилось более-менее целостное и внятное *экологическое законодательство*. Это стало возможным благодаря активной работе российского Министерства экологии и природных ресурсов (которое возглавил видный экономист, специалист по экономике природопользования Виктор Данилов-Данильян, и в состав которого вошло немало квалифицированных сотрудников, собранных Воронцовым в союзном министерстве), а также советника президента по вопросам экологии (позднее — председателя межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по экологической политике) Алексея Яблокова.

У России наконец-то появилась внятная экологическая политика — эффективность которой, впрочем, оставляла желать много лучшего. Принимаемые законы могли соответствовать наилучшим мировым стандартам, но на практике их требования зачастую не выполнялись или выполнялись далеко не в полном объеме из-за слабости (а нередко и коррумпированности) тех структур, которые должны были обеспечить их выполнение. В частности, законодательство давало территориальным органам Минэкологии право останавливать работу предприятий, если объем выбрасываемых ими в окружающую среду вредных отходов (выбросов в атмосферу, сбросов в естественные водоемы и т. д.) превышал установленные нормативы. Однако на практике эта мера применялась нечасто — особенно когда речь шла о градообразующих предприятиях: остановка такого производства означала, что целый город лишается средств к существованию. Кроме того, предписания территориальных органов Минэкологии нередко просто игнорировались (особенно когда они касались предприятий, аффилированных с местной и/или региональной властью), а сами сотрудники этих органов подвергались различным формам давления. Обычным делом были строительство крупных объектов без всякой экологической экспертизы проекта (или с «заказной» экспертизой), значительные отступления от одобренного экспертизой проекта в ходе строительства или/и непосредственно эксплуатации и т. д. Тем не менее само наличие внятных законодательных норм позволяло негосударственным природоохранным организациям использовать против нарушителей механизм судебных исков — что в какой-то мере ограничивало частоту и масштабы нарушений.

Эффективность федеральных целевых экологических программ также была невысока из-за хронического недостатка финансирования. Деньги выделялись не в полном объеме, запаздывали, застревали в банках, обесценивались галопирующей инфляцией. Отчасти смягчить эти эффекты позволяла созданная в то время система внебюджетных экологических фондов — федерального и субъектов федерации. Эти фонды наполнялись средствами, поступающими в качестве платы за пользование природными ресурсами и за загрязнение окружающей среды, штрафов за экологические нарушения и т. п. платежей, а расходоваться могли только на цели, так или иначе связанные с охраной окружающей среды. Правда, на практике нецелевое расходование средств экофондов (особенно региональных) тоже не было редкостью, но все же их существование сильно способствовало реальной природоохранной деятельности.

Еще одним важным направлением государственной экологической политики того времени был бурный рост числа и площади федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — заповедников и национальных парков. С 1991 по 2000 годы в России было создано 29 заповедников, а территория ряда существующих была значительно увеличена. В результате общее число заповедников в России за 10 лет выросло на 40%, а суммарная площадь — на 72%. В эти же годы было создано около 30 национальных парков и 10 федеральных заказников. На многих специалистов этот стремительный рост числа

федеральных ООПТ на фоне неспособности нормально финансировать деятельность даже имеющихся производил впечатление явного безумия: зачастую «создание заповедника» ограничивалось определением его границ и назначением директора. Но руководитель системы федеральных ООПТ и главный инициатор ее быстрого расширения Всеволод Степаницкий имел собственные резоны. Заповедники (а в значительной степени и национальные парки) создавались на землях, почти не затронутых хозяйственной деятельностью, и можно было ожидать, что в ближайшие годы это положение не изменится. Если же ждать, когда у государства появятся деньги, то когда это произойдет, может оказаться, что на ценных в природоохранном отношении землях кто-то уже добывает нефть, промышленным способом моет золото или прокладывает через них магистральный трубопровод. Сегодня можно сказать, что его тактика себя оправдала: все созданные в этот период резерваты более или менее нормально работают, ни один не был закрыт и не утратил природоохранной ценности, хотя посягательства на их земли случались<sup>1</sup>.

Примерно по той же схеме строилась и вся экологическая политика государства в этот период. Экологическое законодательство, целевые программы и новые ООПТ были скорее посевом, обеспечивающим будущие изменения, чем инструментом, реально влияющим на текущее состояние окружающей среды в стране. «Если у тебя экономика в развале и продолжает падать, то никакие экономические механизмы охраны природы у тебя не работают и работать не будут — по определению», — оценивает сегодня ситуацию тех лет один из наиболее авторитетных деятелей российского природоохранного движения, директор по охране природы российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Евгений Шварц.

Надо сказать, приход в Россию в этот период авторитетных международных природоохранных организаций — и прежде всего WWF — заметно смягчил ситуацию, в которой оказались государственные природоохранные структуры. В первую очередь это относится к тем же ООПТ, получившим при посредничестве WWF (и Центра охраны дикой природы — одной из первых профессиональных российских НГО) доступ к средствам зарубежных донаторов — Глобального экологического фонда, Всемирного банка, фонда Макартуров и других. Важно то, что эти средства шли не на «поддержание штанов» (т. е. текущие расходы), а на развитие: заповедники и национальные парки получали компьютеры и установленные на них специализированные геоинформационные системы, транспорт, средства мобильной связи и пожаротушения; их сотрудники учились составлять заявки на гранты, получали возможность стажировок в лучших резерватах мира. Но деятельность крупных экологических НГО не ограничивалась только резерватами. На Дальнем Востоке, где всплеск браконьерства создал реальную угрозу существованию уже однажды спасенного амурского тигра, в 1994 году по инициативе WWF и при финансовом участии ряда зарубежных фондов была создана специнспекция «Тигр» — элитная антибраконьерская команда. Она считалась подразделением Приморского краевого комитета по охране природы и имела все полномочия государственной инспекции, но финансировалась (сначала полностью, затем частично) зарубежными негосударственными фондами. Высокооплачиваемые (и потому коррупционно устойчивые) инспектора «Тигра» сыграли значительную роль не только в подавлении браконьерства, но и в разрешении любых конфликтных ситуаций, связанных с тигром, а также в общем оздоровлении обстановки в приморских лесах<sup>2</sup>. Позднее по тому же образцу и на тех же началах была создана специнспекция «Кедр», главной задачей которой стала борьба с незаконными рубками леса.

<sup>1</sup> Печальным исключением стал Сочинский национальный парк (созданный, впрочем, еще в 1983 году), заметная (и ценная) часть территории которого была фактически отторгнута под строительство спортивных объектов для зимней олимпиады 2014 года. Помимо непосредственного ущерба парку эта история создала угрозу и для других ООПТ, так как ради олимпийской стройки были отменены законодательные ограничения на строительство в национальных парках.

<sup>2</sup> По мнению некоторых наблюдателей, двусмысленный статус специнспекций привел к тому, что они фактически оказались никому не подотчетной силовой службой. Автор этих строк не берется оценивать справедливость этих утверждений и тем более не берется утверждать, что организационная структура и

Однако на состояние окружающей среды в эти годы влияли и другие факторы. И влияние это было весьма противоречивым, а в некоторых случаях вообще не поддающимся однозначной оценке.

### 7.5. «Экологизация поневоле» и ее издержки

Пожалуй, самым главным фактором, реально повлиявшим на состояние окружающей среды в последнее десятилетие XX века, было резкое сокращение производства. К 1998—1999 гг. объем промышленного производства в России составлял лишь около половины аналогичного показателя 1990 года (который, как мы помним, сам был первым годом абсолютного снижения объемов производства). И хотя отчаянно пытающиеся удержаться «на плаву» предприятия безжалостно сокращали любые расходы, не связанные с основным производством, и под это сокращение часто попадали затраты на природоохранные меры (очистку сточных вод и воздушных выбросов, правильное обращение с отходами производства и т. п.), вредное воздействие промышленности на окружающую среду неизбежно снижалось — причем даже несколько быстрее падения выпуска продукции<sup>3</sup>. Ожидалось, что с возобновлением роста производства это процесс пойдет в обратную сторону, и нагрузка на природу будет расти быстрее, чем выпуск продукции. Однако этого не произошло: когда в 1999 году падение производства, достигнув минимальной точки, сменилось ростом, объемы загрязнения также стали увеличиваться — но это увеличение стабильно отставало от роста выпуска продукции. Это было связано отчасти с тем, что общий рост промышленного производства был достигнут в основном за счет отраслей с относительно низкой «экологической ценой» продукции (прежде всего — пищевой промышленности). Но еще более важным фактором оказалось то, что почти во всех отраслях рост производства оказался возможен только за счет предприятий, прошедших более или менее глубокую модернизацию (а также вновь построенных). На таких предприятиях технологии и оборудование были уже более или менее современными — и уже в силу одного этого не столь природоразрушительными, как старые советские мощности (тем более, что приобретались они, как правило, в странах, где уже действовали обязательные экологические стандарты, и промышленное оборудование выпускалось в расчете на них). Наконец, определенную роль сыграло и то, что во многих отраслях подъем обеспечивался в основном предприятиями, ориентированными в первую очередь на экспорт. Таким предприятиям также приходилось считаться с экологическими стандартами стран-покупателей — даже в отраслях, поставлявших за рубеж лишь сырье, происхождение которого невозможно было определить по конечной продукции. (О механизме такой экологизации экспортных производств мы расскажем несколько подробнее, когда будем говорить о ситуации в лесном секторе.) Спад промышленного производства и последующая «экологизация поневоле» модернизируемых производств привели к значительному уменьшению нагрузки на окружающую среду — особенно в форме загрязнения.

Еще более сложным оказалось влияние, оказанное на окружающую среду процессами, происходившими в сельском хозяйстве. Спад производства проявился здесь прежде всего в сокращении площадей используемых угодий. В 1990 году в России посевы пропашных культур занимали 117,7 млн га, к 2000 году этот показатель сократился до 85,4 млн га, а к 2010 — до 75,2. Таким образом из сельскохозяйственного оборота было выведено около 40 млн га — треть всей обрабатываемой пашни. Сильно сократилось и использование

---

схема финансирования этих специнспекций оптимальны для реализации стабильной и долгосрочной природоохранной стратегии. Но в критической ситуации создание этих чрезвычайных подразделений себя полностью оправдало.

<sup>3</sup> В статистических материалах можно найти данные, указывающие на опережающий рост в 1990-х годах объема токсичных отходов промышленности (в 1,5 раза по отношению к базовому уровню). Однако это артефакт счета: сведения такого рода начали собирать только в 1994 году и степень их полноты сильно менялась. Поэтому приводимая в источниках динамика отражает скорее рост *выявления* токсичных отходов.

непахотных угодий — прежде всего сенокосов и пастбищ, что связано с резким (в 2—4 раза для разных категорий) сокращением поголовья скота.

Для окружающей среды это имело в высшей степени неоднозначные последствия. Самым благотворным, пожалуй, оказалось сокращение использования минеральных удобрений и ядохимикатов — связанное не только с тем, что значительная часть обрабатываемых ранее земель оказалась заброшенной, но и с тем, что большинство хозяйств из-за нехватки денег резко — нередко до нуля — сократили использование этих средств даже на тех площадях, которые оставались в обороте. Среднее количество минеральных удобрений, вносимых на гектар российской пашни, упало почти в шесть раз — с 88 кг в 1990 году до 15 — в 1999-м. Позднее по мере преодоления кризиса этот показатель заметно вырос, но до сих пор составляет меньше половины от «дореформенного» значения. Даже успешные хозяйства, не испытывающие нехватки средств на приобретение удобрений, сегодня закупают их не больше, чем требуют применяемые технологии, и более-менее соблюдают режим их внесения и границы обрабатываемых территорий. Сегодня уже практически невозможно увидеть обычную в советские времена картину, когда селитра или суперфосфат лежит кучей под открытым небом где-нибудь на краю поля. Можно спорить, достаточно ли вносимого сегодня количества минеральных удобрений для устойчивого поддержания плодородия почвы, но для окружающей среды в целом сокращение их применения стало безусловным благом: избыток биогенных элементов (которые, собственно, и составляют основу любых удобрений), не использованный культурными растениями и смываемый атмосферными осадками с полей, является одним из основных — и, пожалуй, наиболее трудно контролируемым — источников загрязнения и *эвтрофикации* (повышения содержания растворенной и взвешенной органики и снижения содержания кислорода) естественных водоемов.

Еще резче (более чем в 7 раз) сократилось применение разного рода пестицидов. В XXI веке объемы их применения опять-таки возросли, но по-прежнему составляют менее трети от объемов последних советских лет. (К тому же произошло качественное изменение спектра применяемых препаратов: наиболее токсичные и трудноразложимые хлор- и фосфорорганические соединения, многие из которых были запрещены к применению еще в СССР, но реально продолжали применяться до самого конца советского времени, вышли из употребления, зато значительную долю составляют относительно маловредные и быстро деградирующие вещества — такие, как глифосат или Вt-токсин.) Излишне пояснять, что резкое сокращение поступления в природу заведомой отравы также весьма благотворно сказалось на состоянии естественных экосистем, особенно в староосвоенных и густонаселенных районах страны.

Сокращение используемых площадей сельскохозяйственных угодий в ряде регионов страны также было скорее благом для биосферы. Особенно это касалось сухостепной и полупустынной природных зон (в Калмыкии, Нижнем Поволжье, отчасти в Ставропольском крае и в некоторых других регионах), где несбалансированное сельское хозяйство — и прежде всего перевыпас скота — было главным фактором разрушения естественных экосистем и эрозии почв. На землях, выведенных из оборота, начался процесс *сукцессии* — закономерной смены типов растительности, заканчивающийся формированием неограниченно устойчивого (в данных климатических условиях) природного сообщества. Аналогичные процессы (но, естественно, включающие в себя другие типы растительности и другие виды растений) начались и на выведенных из оборота землях лесной зоны. Буйные заросли «бурьяна» (высокостебельных сорняков — чернобыльника, лебеды, пустырника и т. п. представителей *пионерной флоры*) закономерно сменялись растениями второй волны (тысячелистником, пыреем, на известковых почвах — обыкновенным щавелем), а на смену им приходило уже обычное для средней полосы России луговое разнотравье. (Автор этих строк имеет возможность непрерывно с 1990 года наблюдать своими глазами эти процессы на юге Тверской области.)

По сути дела вывод из сельскохозяйственного оборота значительных площадей (как правило, относительно малопродуктивных или/и неудобных для обработки, но в советское время продолжавших использоваться, поскольку площадь обрабатываемых земель прямо влияла на финансирование хозяйства<sup>4</sup>) обернулся стихийным восстановлением естественных экосистем на десятках миллионов гектаров. Однако этот процесс имел и оборотную сторону. В лесной зоне не нарушаемая влияниями извне сукцессия не заканчивается формированием травяных сообществ (лугов): все открытые участки, за исключением переувлажненных или находящихся в поймах незарегулированных рек, неизбежно начинают зарастать деревьями (в основном мелколиственными породами — березой, ольхой, осиной, козьей ивой, — но на песчаных почвах на лугах и заброшенных полях могут сразу формироваться сосняки). Травяные сообщества могут существовать только при постоянной поддержке крупных травоядных животных — копытных. В староосвоенных районах европейской части России эту функцию уже давно выполняли домашние животные (в основном коровы и овцы), а также заготовка кормов для них — сенокос. Без выпаса и косьбы поля и пастбища, пройдя стадию луга, начали быстро превращаться в молодые леса. Кроме того, оказалось, что некоторые виды животных за тысячелетия существования в средней полосе России сельского хозяйства приспособились к обитанию именно в агроценозах (в том числе на полях зерновых) и в их отсутствие просто исчезают. Все это в совокупности существенно снижало биоразнообразие на тех территориях, где хозяйственная деятельность прекратилась полностью. Дело дошло до того, что некоторые резерваты (например, знаменитый природный заказник «Журавлиная родина» на севере Московской области) вынуждены были сами проводить на своей территории не только сенокос, но и распашку небольших участков и засев их зерновыми.

Впрочем, превращение лугов в мелколесье — далеко не самая большая проблема, создаваемая зарастанием сельскохозяйственных угодий. Хотя в средней полосе России луга — ландшафт более ценный, чем вторичные мелколиственные леса, но зарастание лугов и полей часто превращает фрагментированную сеть перелесков и рощиц в крупные лесные массивы, которые в дальнейшем (когда сукцессия дойдет до своей финальной стадии — широколиственного леса или осветленного соснового бора) могут стать территорией цивилизованного лесного хозяйства или природного резервата (например, национального парка). С другой стороны, в староосвоенных районах лесной зоны России сельское хозяйство (в том числе пастбищное животноводство) нигде не исчезло полностью на сколько-нибудь обширной территории, так что полное исчезновение российским разнотравным лугам все-таки не грозит. Гораздо хуже оказалось то, что когда на месте бывших полей и выгонов формируются никем не объедаемые и не выкашиваемые высокотравные луга, на них происходит накопление травяной ветоши — отмершей прошлогодней травы. Весной, когда снег уже сошел, ветошь просохла, а молодая трава еще не пробилась из земли (помимо всего прочего, «подушка» из ветоши сильно замедляет прогрев почвы), такие луга становятся готовым «угощением» для огня. В сочетании с бытовыми привычками населения России (включающего не только массовое курение с выбрасыванием спичек и окурков в произвольном направлении, но и целенаправленные поджоги травы) это ежегодно приводит к огромному количеству травяных палов — которые не только уничтожают подчистую мелкую наземную живность (рептилий, амфибий, насекомых, наземных моллюсков и других почвенных беспозвоночных, а также яйца и птенцов луговых птиц) на самих лугах, но и перекидываются на леса, а нередко — и на населенные пункты. Ежегодная эпидемия травяных и лесных пожаров стала одной из главных экологических проблем страны. При этом те луга, на которых продолжается выпас скота, от этой беды практически не страдают:

---

<sup>4</sup> Фетиш «недопустимости сокращения пахотных площадей» требует жертв и сегодня: в ряде регионов российского Нечерноземья хозяйства штрафуют за зарастающие поля. В результате эти поля часто распахиваются, но остаются незасеянными — что не только приводит к бессмысленным затратам труда, топлива, финансовых средств, но и содействует эрозии почвы и распространению борщевика Сосновского (см. выше).

к моменту установления снегового покрова на них практически не остается травы в том вегетативном состоянии, которое могло бы дать ветошь, так что весной там попросту нечему гореть.

Заращение лугов мелколесьем сильно снижает вредоносность палов: молодые мелколиственные леса относительно малоуязвимы и малопроеходимы для огня. Однако палы сильно замедляют это заращение: пока проростки деревьев не возвышаются или почти не возвышаются над травой, а их кора тонка, они неизбежно гибнут в каждом травяном пожаре. Чтобы тот или иной участок зарос мелколиственными породами, нужно, чтобы он не подвергался действию огня 3—5 лет подряд. Для хвойных пород этот срок значительно больше: даже 10-летние сосны нередко гибнут в травяных палах — и в свою очередь становятся топливом для пала следующего года.

Но негативные последствия накопления травяной ветоши на лугах лесной зоны — не более чем мелкие неприятности по сравнению с тем, к чему может привести такой процесс в зоне степной. Степь, как и луг, может устойчиво существовать только при условии регулярной «стрижки» ее копытными. Но если в лесной зоне никем не выедаемый луг в конце концов зарастает лесом, то в степных районах лес расти не может в силу их климатических особенностей. В результате из года в год растущий слой ветоши может полностью задушить степь: ростки молодой травы просто не могут сквозь него пробиться. В этой климатической зоне иногда даже контролируемые палы оказываются меньшим злом по сравнению с «естественным» развитием событий. Разумеется, только там, где нет возможности применить более щадящее вмешательство: сенокос (с обязательным вывозом накошенного) или дозированный выпас скота. В любом случае, если в лесной зоне на выведенных из оборота землях в конце концов вырастает лес (хотя обычно и не самого ценного типа), то в степных районах ни на какое самопроизвольное восстановление степи рассчитывать не приходится.

Экономические реформы привели к еще одному интересному эффекту: *поляризации* сельского хозяйства и вовлеченных в его сферу ландшафтов. Она выражается в концентрации, «стягивании» сельскохозяйственной деятельности к некоторым частям ранее охваченных ею территорий (как правило, к тем, где эта деятельность и раньше была интенсивнее) и параллельном прекращении или ослаблении ее на других участках. Этот процесс происходит на разных уровнях — от внутривладельческого (засеваемые площади сокращаются за счет отказа от возделывания наименее продуктивных или/и неудобных для обработки участков, часто — наиболее удаленных от центральной базы хозяйства и вообще населенных пунктов) до общенационального (отказ от земледелия в экстремальных для него регионах — Мурманской и Магаданской областях, на Чукотке, исчезновение богарного земледелия в Астраханской области). Наиболее очевидным выражением этой тенденции можно считать то, что в большинстве регионов сельскохозяйственное производство сосредотачивается в непосредственной близости от крупных городов и магистралей, на отдаленных же от них территориях (особенно вблизи границ региона и в малонаселенных местах с редкой дорожной сетью и низким качеством дорог) оно затухает и часто прекращается полностью. По данным экономистов-аграриев, транспортная близость к крупным городам и особенно к мегаполисам стала главным, а местами — почти единственным фактором, определяющим ценность земельных угодий.

Наличие такого процесса и его связь с проведенными в стране экономическими реформами признают практически все наблюдатели. Но оценки его влияния на состояние окружающей среды оказываются диаметрально противоположными. Некоторые специалисты — например, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Николай Клюев — считают экологические последствия этого эффекта безусловно отрицательными, так как он ведет к увеличению экологической нагрузки на те территории, где она и до того была высокой. По мнению Клюева, это неизбежно приведет к необратимой деградации тех земель, которые сейчас представляются наиболее выгодными и удобными, после чего основная сельскохозяйственная активность сместится на следующие



по привлекательности земли — и цикл повторится. Кроме того, в результате поляризации максимальная экологическая нагрузка приходится на наиболее густонаселенные районы — и следовательно, затрагивает максимальное число людей.

В то же время ряд других авторов, рассматривающих процесс концентрации сельского хозяйства в свете *концепции поляризованного ландшафта*, выдвинутой советским географом Борисом Родоманом еще в 1970 году, наоборот, видит в ней самопроизвольное зонирование территорий по степени антропогенного воздействия. Это, по их мнению, создает возможности для восстановления на тех землях, где сельскохозяйственная деятельность прекратилась или приняла менее интенсивные формы, естественных (или близких к естественным) экосистем — которые затем можно будет объединить в сплошную сеть. Это позволило бы нейтрализовать одну из самых главных угроз редким и исчезающим видам диких животных и растений — *фрагментацию местообитаний*, да и в целом оказало бы оздоравливающее воздействие на состояние окружающей среды. Возвращение периферийной и малопродуктивной части сельскохозяйственных угодий в естественное состояние могло бы сделать возможным даже восстановление утраченных ландшафтов — в частности, евразийской степи.

Не претендуя на роль арбитра в этом споре, автор этих строк должен признаться, что его собственные наблюдения (разумеется, субъективные и фрагментарные) говорят о правоте скорее второй точки зрения. Хотя со сторонниками первой нельзя не согласиться в том, что экологический выигрыш от территориальной поляризации сельского хозяйства в значительной мере снижается тем, что концентрация аграрной активности на наиболее благоприятных для этого территориях не сопровождается экологизацией применяемых там технологий и интенсификацией природоохранных мер.

## 7.6. Лесоруб лесорубу рознь

Еще более неоднозначными и противоречивыми были последствия экономических реформ для лесной сферы — лесозаготовительной и лесобрабатывающей промышленности, лесного хозяйства и леса как естественной экосистемы определенного типа.

Россия занимает первое место в мире по общей площади лесов, на ее территории растет около четверти всех лесов планеты. Разные источники указывают разную абсолютную площадь российских лесов в зависимости от методик подсчета (которые могут учитывать или не учитывать вырубки, гари, лесные водоемы, применять разные значения минимальной плотности древостоя и высоты деревьев, достаточные для того, чтобы тип растительности считался «лесом», и т. д.). Согласно наиболее общепринятой методике оценки, непосредственно лесом в России покрыто немногим более 8 миллионов квадратных километров или 800 млн га.

В СССР все вопросы, связанные с лесом, были прерогативой специализированного ведомства-монополиста. Это ведомство многократно меняло название (министерство лесной промышленности, министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности, министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности и др.), структуру, статус и объем полномочий. Неизменным всегда оставалось одно: объединение задачи ведения лесного хозяйства, охраны и восстановления леса с задачей его коммерческой эксплуатации. В отдельные периоды практиковалось даже объединение *лесхозов* (подразделений, непосредственно занимавшихся разведением и поддержанием лесов) с лесодобывающими предприятиями — *леспромхозами*. Излишне говорить, что и почти все статистические данные о состоянии лесов собирались ведомством и не могли быть получены и использованы без его санкции.

Как уже говорилось выше, сочетание в одном лице функций регулятора и пользователя было стандартным организационным решением в советской хозяйственной системе. Практически везде оно неизбежно порождало перекосы, злоупотребления и безнадежную неэффективность организованной таким образом отрасли. Однако именно в

лесном секторе результаты такого сочетания оказались особенно сокрушительными: подчиненность всего лесного хозяйства валовым количественным показателям выхода древесины неизбежно приводила к тому, что лесовосстановление никогда не поспевало за темпами вырубки, а о ведении сбалансированного и высокоэффективного лесного хозяйства (основанного на *лесных плантациях*, где лес целенаправленно выращивается до нужных кондиций) руки не доходили даже в образцовых хозяйствах. Лесозаготовки всегда были ориентированы на рубку естественных лесов, запасы которых казались бесконечными. В результате за первые послевоенные десятилетия огромные территории (особенно в западных и южных регионах СССР) лишились леса полностью, а в средней полосе европейской части России великолепные хвойные леса сменились осиново-ольховым мелколесьем. Основные районы лесодобычи постепенно сместились на север европейской России (Карелия, Архангельская область, республика Коми и т. д.), в Сибирь и на Дальний Восток. Однако уже в середине — второй половине 1970-х годов в лесной промышленности в целом начался постепенный спад производства: доступные леса (в основном прилегавшие к крупным рекам, по которым был возможен сплав до тех мест, где имелись перерабатывающие мощности или/и транспортная инфраструктура) оказались вырублены, а для освоения более удаленных территорий требовались вложения (строительство дорог, поселков лесорубов и т. д.), которые запланированы не были. К середине 1980-х объемы добычи почти достигли прежнего уровня, но уже в последние годы того же десятилетия начался стремительный обвал объемов рубок.

С началом экономических реформ государственное управление лесами и их коммерческое использование были наконец-то разделены, а вскоре практически вся лесопромышленная отрасль была так или иначе приватизирована. Казалось бы, российский лесной сектор вполне определенно вступил на путь, ведущий к ответственному и цивилизованному лесопользованию. Однако все оказалось не так радужно. Как и все финансируемые из бюджета сферы, лесное хозяйство в полной мере испытало на себе финансовое бессилие российского государства 1990-х годов: выделяемых средств едва хватало на выплату зарплат (весьма скромных и не поспевающих за инфляцией) сотрудникам лесной службы и на оплату «коммуналки». На какую-либо штатную работу денег уже не было — часто не на что было купить даже топливо для транспорта и бензопил. В то же время в ходе повседневной и обязательной работы лесхозов — вырубки больных, пораженных вредителями и погибших деревьев, прореживания посадок, регулярной прочистки просек и т. д. — в качестве побочного продукта неизбежно образовывалось довольно значительное количество вполне пригодной для продажи древесины, которую к тому же в любом случае надо было обязательно вывезти из леса. Само собой напрашивалось решение: разрешить лесхозам ее продавать, хотя бы отчасти решая тем самым свои финансовые проблемы.

В результате основным источником средств для подразделений лесной службы фактически стала заготовка древесины. А поскольку такое положение сохранялось не один год, то вне зависимости от намерений того или иного руководителя и даже от настроений всего корпуса работников лесной службы этот основной источник средств быстро превратился в основное занятие ведомства. Правда, так называемые *рубки главного пользования* (в ходе которых при нормальном ведении лесного хозяйства и добывается основная масса товарной древесины, в том числе вся та фракция, что пойдет не на дрова или целлюлозу, а на стройматериалы, мебель и т. п.) лесхозам формально были запрещены. Но на практике этот запрет легко обходился — сплошные рубки оформлялись как зачистка гарей или короедников, а чаще всего как *рубки ухода*<sup>5</sup> (которые в те годы все работники лесного

---

<sup>5</sup> Рубки ухода — выборочные рубки на не достигших спелости лесных участках с целью удаления отдельных деревьев, которые не могут представлять ценности в будущем (когда участок пойдет под сплошную рубку), но мешают расти основной массе деревьев. Во время рубок ухода должны удаляться деревья засохшие, больные, неправильной формы, явно отстающие в росте и т. д. Правильно проводимые

ведомства называли не иначе как «рубки дохода»). В частности, автору этих строк довелось в те времена своими глазами видеть (и не в каком-нибудь глухом углу страны, а в образцовом подмосковном лесхозе километрах в 80 от штаб-квартиры федеральной службы лесного хозяйства) начисто вырубленный квартал великолепных 80-летних сосен, изъятие которых было оформлено как «рубка ухода». Подобное шулерство практически никогда не пресекалось и не каралось, поскольку вышестоящие организации даже если не участвовали в этой деятельности прямо, прекрасно понимали, что лесхозам и лесничествам надо на что-то жить.

В результате, однако, лесная служба из органа государственного регулирования лесопользования превратилась в крупнейшего игрока на рынке товарной древесины, к концу 1990-х производившего ежегодно около 14 млн куб. м. (примерно десятую часть всей получаемой в стране древесины). При этом подразделения Рослесхоза<sup>6</sup> были, естественно, освобождены от уплаты лесных податей — не самим же себе они должны были бы их платить! Получалось, что участники рынка не только несут издержки, от которых их крупнейший конкурент избавлен, но еще и обязаны содержать этого конкурента. Понятно, что такая ситуация сильно искажала данный сектор рынка, ситуацию в котором и без того нельзя было назвать здоровой (о чем речь пойдет чуть ниже). С другой стороны, «рубки дохода» и прочие нецелевые работы оттягивали на себя огромную долю трудовых усилий сотрудников лесной службы (валка, первичная обработка и вывоз леса — не та работа, которой можно заниматься между делом или посадить на нее одного выделенного сотрудника на весь лесхоз). В результате эта служба хронически не справлялась со своими основными задачами — даже с охраной леса от пожаров, вредителей и незаконных рубок, принявших в эти годы массовый масштаб. О полноценном лесовосстановлении даже наиболее ценных пород не было и речи: один из специалистов-лесоведов оценил усилия краевого управления Рослесхоза (одного из немногих в ту пору вообще занимавшихся этой работой) по посадкам кедра фразой «кедровка сажает больше».

Между тем идея использовать лес в качестве средства покрытия своих бюджетных обязательств оказалась чрезвычайно популярной не только в самой лесной службе, но и у региональных и местных властей. Хотя согласно российскому законодательству земли Государственного лесного фонда (к которым относятся почти все лесные земли страны) находятся в федеральной собственности, региональные и местные власти имеют довольно широкие возможности разрешать тем или иным лицам рубку леса на участках, не переданных в аренду коммерческим лесопользователям и не входящих в какую-либо охранную категорию. Понятно, что в ситуации, когда у местных властей постоянно не хватает денег на выполнение даже самых первоочередных бюджетных обязательств, но есть вполне ликвидный ресурс, которым можно довольно свободно распоряжаться, рано или поздно у них возникает мысль использовать лес как своего рода альтернативное платежное средство. Возможно, все начиналось с того, что выделением лесных участков заменяли поставки дров для тех или иных социальных объектов, находящихся на балансе соответствующих органов власти. Но очень скоро раздача участков под рубку стала универсальной практикой во всех лесных регионах: делянки получали погранзаставы и воинские части, церковные приходы и школы-интернаты... Понятно, что все это делалось не от хорошей жизни, но лесу от этого было не легче: в напряженных отношениях между властями (нескольких уровней), бизнесом и населением он оказался крайним. И, разумеется, на участках, выделенных для такой вот «социальной поддержки», речь не шла не только о каком-то лесовосстановлении или устойчивом и эффективном лесопользовании, но даже о соблюдении правил собственно рубки — обязательного вывоза всего срубленного и т. д.

---

рубки ухода позволяют в разы увеличить ежегодный прирост древесины на участке, ускорить созревание леса и повысить его качество.

<sup>6</sup> Рослесхоз — официально принятое сокращенное название Федерального агентства лесного хозяйства, сохранившееся при всех переименованиях ведомства и изменениях его статуса.

Впрочем, подобная практика выглядела невинными мелкими грешками по сравнению с совсем уж самовольными рубками, приобретенными в 90-е годы невиданные масштабы. Речь идет отнюдь не о бедных сельских жителях, валящих без всякого оформления дерево-другое, чтобы обеспечить себя дровами на зиму или заменить подгнившую балку в избе. Такое тоже имело место и было довольно массовым, но ущерб от них не шел ни в какое сравнение с самовольными рубками на продажу. Согласно оценке экспертов WWF, доля незаконно добытого леса достигала примерно 20% от всей производимой в те годы в России товарной древесины (правда, в эту величину входят не только откровенно браконьерские рубки, но и лес, срубленный легальными лесопользователями, но с грубыми нарушениями — за пределами отведенного участка и т. д.).

Но «валовые» количественные оценки не дают полного представления о масштабе экологического ущерба от подобного промысла. Как известно, еще на самом раннем этапе реформ была демополизована внешнеторговая деятельность: все хозяйствующие субъекты получили возможность самостоятельно выходить на международный рынок. Доступ к лесу имели многие, рубить его можно было без всяких предварительных капиталовложений, а деньги нужны были всем. В результате в начале 90-х на мировой рынок хлынула огромная масса российской древесины, которую конкурирующие друг с другом новоявленные коммерсанты готовы были отдать по любой цене. И рынок рухнул — цена на круглый лес упала до уровня, который для многих регионов не покрывал даже транспортные издержки. Даже для браконьерских бригад, не плативших никаких сборов и налогов, промысел оставался выгодным только в приграничных или/и приморских регионах (северо-западные области, Кавказ, Хабаровский и Приморский края) и только в режиме *приисковых рубок*. Проще говоря, лесные вору избирательно вырубает самые ценные породы — кедр, дуб, восточный ясень, каштан и т. д. — в самых ценных и экологически важных лесах. При этом валка и трелевка крупных высокосортных деревьев и передвижение тяжелой неприспособленной к работе в лесу техники (особенно на горных склонах) делает ущерб от браконьерских рубок в разы больше, чем от добычи формально того же объема древесины, заготовленного легальными лесопромышленниками. И то, что на протяжении всех 90-х годов суммарная площадь российских лесов неуклонно росла, было слабым утешением: гибель даже небольших участков уникальных кавказских или приморских лесов не может быть компенсирована никаким увеличением площадей березняков-осинников-ольшаников, бурно осваивающих заброшенные поля средней полосы России.

Особенно обидная ситуация сложилась на западе Карелии. В советские времена 50-километровая полоса вдоль границы с Финляндией была запретной зоной: в ней не было не только леспромхозов, но даже постоянного населения, кроме пограничников. В результате именно здесь уцелел самый крупный сплошной массив североевропейских *первичных* (старовозрастных) лесов — лесов, которые с момента своего появления на этой территории (это произошло около 10 тысяч лет назад, после таяния последнего ледника) никогда не вырубались и не горели. За пределами России такие леса сохранились только в виде небольших островков в Финляндии и в горах на границе Швеции и Норвегии. Более крупные массивы их есть в Республике Коми, Архангельской области и на востоке Карелии, но самый большой и наименее затронутый деятельностью человека — вдоль карельско-финской границы.

Но с падением советской системы запреты были сняты, и уникальные леса превратились в лакомый кусочек для лесопромышленников: огромный запас прекрасной древесины у самой границы страны, буквально нашпигованной деревообрабатывающими предприятиями! Несмотря на протесты ученых и экологических активистов, федеральное и карельское правительства дали добро на освоение этих лесов. Лесопромышленники — как местные, так и зарубежные, в основном финские — с вождением принялись делить этот большой и лакомый пирог... и вскоре нарвались на потребительские бойкоты.

Оказалось, что массовому европейскому потребителю не все равно, где и как срублена сосна, из которой сделана облюбованная им табуретка. Конечно, таких потребителей было

меньшинство (хотя и довольно значительное — около четверти), но дело в том, что под бойкот попадала не только продукция, непосредственно изготовленная из древесины, добытой в старовозрастных лесах, а *вся* продукция фирм, замеченных в покупке такой древесины. Понятно, что в таких условиях крупные европейские покупатели древесины один за другим отказались ее покупать. Попытки отечественных производителей применить привычные схемы отмывания (оформления леса из приграничной полосы как якобы срубленного в других местах) привели только к тому, что на какое-то время под бойкот попала чуть ли не вся древесина из Карелии, а истерические заказные статьи в «Российской газете» почему-то не произвели никакого впечатления на европейских бизнесменов. Правительство Карелии еще несколько лет пыталось найти в Европе небрезгливых контрагентов, но в конце концов на него начали давить сами лесопромышленники, осознавшие, что лучше отказаться даже от очень лакомого куса, чем лишиться выхода на европейский рынок. Вырубку старовозрастных лесов западной Карелии удалось предотвратить, а значительная часть их вошла в состав целой цепочки заповедников и национальных парков.

Если российские лесопромышленники столкнулись с потребительскими бойкотами только в середине 90-х, то их зарубежные коллеги были к этому времени уже давно знакомы с этим явлением. Убедившись, что лобовое противостояние с экологической общественностью оказывается чересчур накладным, они пошли на диалог с защитниками лесов, который привел к созданию в 1993 году Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council, FSC) — своего рода постоянно действующего международного «круглого стола», объединившего лесозаготовителей, лесоторговцев, ученых, экологических активистов, представителей коренных народов и другие заинтересованные стороны. Усилиями FSC была разработана система *добровольной лесной сертификации* — процедуры, удостоверяющей, что лесозаготовка ведется экологически и социально безопасными методами, не разрушает природные экосистемы и не лишает местное население средств к существованию. Исходно объектом сертификации были именно лесоразработки, однако позднее были разработаны методы сертификации всей технологической цепочки, удостоверяющей, что в ней нигде не используется древесина, заготовленная «грязными» методами или попросту ворованная. Сертификация по FSC — не единственная система, применяемая сегодня в лесном хозяйстве (из международных систем популярна также сертификация по ISO — Международной организации по стандартам), но, пожалуй, наиболее экологически ориентированная.

Сертификацию проводят специальные аудиторские фирмы, каждая из которых должна предварительно получить аккредитацию. Исходно ее выдавал непосредственно FSC, сейчас этим занимается международная организация [Assurance Services International \(ASI\)](#). Сертификат выдается на пять лет, но должен ежегодно подтверждаться аудиторскими проверками. Лесные аудиторы изучают документооборот компании, расспрашивают персонал, выборочно выезжают в районы заготовок. Конечно, проверить происхождение каждого бревна они не могут, но скрыть сколько-нибудь значительные объемы «левой» древесины в таком режиме практически невозможно. Вся эта немалая по объему и требующая высокой квалификации работа выполняется по инициативе самой проверяемой компании и полностью оплачивается ею. Никто не принуждает ту или иную лесопромышленную компанию сертифицировать свои участки и предприятия — но никто не имеет и права заставить ее потенциальных покупателей приобретать несертифицированную древесину. Под давлением общественности крупнейшие европейские покупатели древесины один за другим заявляли об отказе от закупок несертифицированного сырья.

Битва за «Зеленый пояс Фенноскандии» была еще не закончена, когда в 1998 году в России был подан первый заказ на лесную сертификацию. Он поступил от скромной по размеру барнаульской компании Timber Production. Мотивы были понятны: вывозить с Алтая круглый лес (главный продукт российских лесопромышленников) экономически бессмысленно, а потенциальные покупатели товаров более глубокой переработки желают

иметь дело с цивилизованными поставщиками. Вскоре после этого еще несколько компаний сертифицировали свое производство по системе FSC, однако их доля по отношению ко всему лесному рынку в России в тот момент была ничтожной. «Это были пилотные проекты, в какой-то мере пиар, но во всяком случае не повседневный бизнес», — говорит об этом периоде Евгений Шварц. Многие специалисты были уверены, что лесная сертификация так и останется в России маргинальным явлением или в лучшем случае ограничится площадями, арендованными европейскими компаниями (дорожащими своей репутацией «экологически ответственных») и их российскими «дочками».

Но всего через два-три года интерес к сертификации начали проявлять крупные вертикально-интегрированные холдинги — такие, как «Илим Палп», «Титан», «Тернейлес» и другие. Площадь сертифицированных лесов стала стремительно расти. Конечно, при этом случалось всякое (скажем, компания, располагавшая тремя десятками участков в разных регионах, сертифицировав один из них, пыталась представить всю свою продукцию как «сертифицированную»). Но так или иначе к середине 2000-х Россия вышла на первое место в Европе и второе в мире по абсолютной площади сертифицированных лесов (правда, это составляло всего около 13% всех российских лесов, находящихся в коммерческом пользовании, — но и это было гораздо больше, чем можно было ожидать по самым оптимистичным прогнозам). А на момент написания этих строк в стране сертифицировано по FSC ни много ни мало — 54,1 млн га лесов, т. е. около половины всех эксплуатируемых лесных площадей. Процесс, запущенный в 90-е, шел все последующие два десятилетия — когда быстрее, когда медленнее, но всегда в одну сторону, что бы ни происходило в это время с природоохранной политикой страны и с ведомствами, уполномоченными ее формировать и проводить.

Конечно, очень большую роль в столь стремительном «позеленении» флагманов российского лесного сектора сыграло желание стать равноправными участниками мирового рынка: поставлять свою продукцию на самые привлекательные рынки, беспрепятственно получать крупные кредиты, размещать IPO и т. д. Но не приходится сомневаться, что всего того же самого не меньше хотят и компании, работающие в других секторах экономики (по крайней мере, те, кому есть что предложить на экспорт). Однако там процесс экологизации производства если и идет, то куда медленнее, непоследовательнее и с большими трудностями.

Главное отличие лесного бизнеса (точнее, той его части, которая ориентирована на долгосрочную работу в этом секторе) состоит в том, что его собственные чисто коммерческие интересы если не полностью, то в очень большой мере совпадают с тем, что желательно для самих лесов. В самом деле, чего хочет такой лесопромышленник? Чтобы лес был всегда, чтобы он всегда поступал на рынок в стабильном и предсказуемом количестве, чтобы он не горел, не болел, чтобы его не валил ветер и не рубили браконьеры, чтобы древесина быстро прирастала и как можно большая часть ее была высокого качества. Всего того же самого (включая максимальную скорость прироста древесины и ее качество<sup>7</sup>) хочет и специалист-лесовед, и экологический активист. Правда, они хотят еще кое-чего сверх того (прежде всего — сохранения биоразнообразия на эксплуатируемых участках), но об этом уже можно договариваться. В конце концов, постоянное присутствие на некоторой территории участков, находящихся на разных стадиях использования (вырубка, посадки, молодой лес, спелый лес) тоже поддерживает биоразнообразие.

Огосударственная советская лесная отрасль не смогла осознать эту простую логику за все десятилетия своего существования. Крупному лесному бизнесу хватило для этого буквально нескольких лет, прошедших после приватизации лесной промышленности. «Если посчитать, сколько стоит выполнение требований экологов, то окажется, что примерно 85%

---

<sup>7</sup> Основной источник вещества для любой древесины — атмосферная углекислота. Следовательно, чем быстрее прирастают объемы древесины на лесной плантации, тем больше углекислоты ежегодно выводится из атмосферы. В древесине, пошедшей на мебель или стройматериалы, поглощенный углерод может оставаться связанным десятки, а то и сотни лет.

этого приходится на меры, которые нужны нам самим. А остальное может быть предметом переговоров», — сформулировал эту мысль еще в середине 2000-х один из тогдашних топ-менеджеров «Илим Палп». И это явно была не только его личная точка зрения: на Дальнем Востоке, например, лесопромышленные компании (причем не только крупные, но и средние) финансируют работу специнспекции «Кедр» — не только для улучшения имиджа, но и потому, что «Кедр» защищает их лесные участки от рейдов полубандитских «бригад» нелегальных порубщиков. Вообще надо сказать, что леса, находящиеся в пользовании таких компаний, страдают от пожаров и браконьерства значительно меньше лесов, не переданных в аренду: бизнес умеет эффективно защищать свои активы.

За какое-то десятилетие крупный лесной бизнес и природоохранные организации прошли путь от непримиримой конфронтации до постоянного диалога и чуть ли не стратегического союза. Лесной сектор стал своего рода образцом конструктивного сотрудничества экологических активистов с крупным бизнесом. Правда, этот опыт не так-то просто перенести в другие сектора: даже в морском рыболовстве (сходном с лесной промышленностью тем, что оно эксплуатирует *возобновляемый ресурс*) применить напрямую «лесные» механизмы согласования экономических и экологических интересов не так-то просто — рыбу и другие ценные морские ресурсы нельзя разделить на участки и передать каждый в аренду конкретному пользователю. Тем более трудно применить лесной опыт к отраслям, эксплуатирующим ресурсы невозобновляемые — которые, как известно, и являются основой сегодняшней российской экономики. И все же даже в этих отраслях ситуация понемногу сдвигается в сторону большей цивилизованности.

Возвращаясь к теме лесов, хотелось бы закончить ее на такой вот мажорной ноте: мол, российский лесной бизнес, движимый не только давлением потребительского выбора населения развитых стран, но и собственными долгосрочными интересами, экологизируется на глазах. К сожалению, в лесном секторе тоже наблюдается своего рода «поляризация». На одном полюсе оказываются крупные компании, ориентированные на мировой рынок и его правила игры и выстраивающие свои бизнес-стратегии в расчете на долговременную перспективу. На другом — деятельность «черных лесорубов» и арендаторов-однодневок. Этот «тип лесопользования» никуда не делся и до сих пор, хотя в последнее время его масштабы заметно сокращаются (отчасти потому, что все большая часть коммерчески привлекательных лесов оказывается либо занята более цивилизованными пользователями, либо уже опустошена лесным разбоем). Посередине находится изрядная доля российских лесопромышленников (ориентированных на внутренние или восточноазиатские рынки и, как правило, аффилированных с региональной или/и местной властью), более или менее соблюдающих законы и установленные нормы, но при случае всегда готовые попробовать их на прочность. Так весной 2020 года в коридорах законодательной и исполнительной власти Республики Алтай родилась инициатива внесения изменений в Лесной кодекс, разрешающих санитарные рубки и рубки ухода в орехово-промысловых кедровых лесах (которые в настоящее время полностью запрещены). Браконьерскую инициативу удалось своевременно заблокировать (она даже не была внесена в Госдуму), но такого рода попытки случаются с удручающей регулярностью.

За пределами этого материала остались проблемы пригородных и городских лесов, главными проблемами которых является не заготовка древесины, а чрезмерная и неконтролируемая рекреационная нагрузка и особенно — коммерческая застройка (причем не только индивидуальным жильем, но и торговой и транспортной инфраструктурой, спортивными сооружениями и даже многоквартирными домами). Наконец, не следует забывать, что большая часть российских лесов по разным причинам (малоценность древостоя, удаленность и отсутствие инфраструктуры и т. д.) не имеет постоянных пользователей. Забота о таких лесах целиком лежит на подразделениях федеральной лесной службы, ко всем объективным слабостям которой (недостаточное финансирование, физическая и моральная устарелость парка техники, коррупционная уязвимость) добавляются едва ли не перманентная реорганизация и «оптимизация», а часто и

некомпетентность высшего руководства (как правило, назначаемого из числа управленцев, никогда ранее не имевших отношения к лесному хозяйству). Над такими лесами не висит угроза сплошной вырубке, но их состояние зависит от множества факторов и не в последнюю очередь — от того, как к ним относится местное население.

### 7.7. Гуманитарный аспект

После массовых выступлений второй половины — конца 1980-х годов против экологически опасных проектов можно было бы ожидать, что население страны осознает неблагополучие состояния окружающей среды и в собственном поведении (тем более — в отсутствие административного насилия, как это и было в 90-х годах) постарается по крайней мере не усугублять его. В реальности все оказалось гораздо хуже.

Как известно, время перемен стало временем взрывного роста самой разнообразной преступности, особенно по корыстным мотивам. С 1988 до 1993 года общее число зарегистрированных преступлений в РСФСР/РФ выросло почти в 2,5 раза (на самом деле рост, вероятно, был гораздо больше, поскольку о значительной части преступлений — в основном мелких имущественных — потерпевшие не заявляли, и в указанный период доля таких «невидимых» для статистики преступлений явно возросла). И вместе с кражами, грабежами, мошенничествами страну накрыла волна массового браконьерства.

Выше уже говорилось о разгуле нелегальных рубок — как сугубо индивидуальных, имевших целью удовлетворение личных нужд, так и коммерческих и даже «экспортно-ориентированных», проводимых своего рода криминальными «холдингами» со своей администрацией, транспортом и каналами сбыта. Но столь же распространенным был и незаконный лов рыбы и морепродуктов — как в морях, так и на внутренних водоемах. Браконьерский промысел некоторых особо ценных видов рыбы и морских беспозвоночных порой в разы превышал легальный (впрочем, граница между ними стала довольно условной, а порой ее вообще невозможно было провести), а ситуация с промыслом осетровых в конце концов дошла до того, что *вообще вся* продукция из этих рыб, продававшаяся на внутреннем российском рынке, была нелегальной.

Не лучше было положение и с охотничьим промыслом, где массовое браконьерство вновь поставило под угрозу существование некоторых видов крупных животных, уже считавшихся восстановленными — в частности, амурского тигра (над которым, как уже говорилось выше, сжалились даже советские «покорители природы») и сайгака (который и по сей день неконтролируемо истребляется браконьерами). Массовый характер приобрели такие виды браконьерства, как коммерческий сбор дикорастущих цветов (букетики из которых хорошо продавались затем в крупных городах), лекарственных растений и т. д. На Дальнем Востоке браконьерский промысел стал серьезной угрозой даже для некоторых видов лягушек, пользовавшихся устойчивым спросом в соседнем Китае. Одним словом, из естественных экосистем выгребалось всё, что можно было использовать или предложить на продажу. Службы, уполномоченные охранять природу и природные ресурсы, оказывались бессильны перед этой вакханалией браконьерства — для эффективной борьбы с ней у них не было ни прав, ни технических средств (а часто и заинтересованности). Что до милиции и прокуратуры, то они обычно только отмахивались — особенно когда речь шла о мелких нарушениях.

Обычно этот всплеск массового браконьерства (как и вообще поднявшуюся в то время волну мелкой «кустарной» преступности) связывают с падением жизненного уровня. Действительно, с началом экономических реформ множество людей либо лишились работы вовсе, либо по много месяцев не получали зарплату (да и реальный размер этой зарплаты с либерализацией цен упал в разы). В значительной мере так оно и есть — но все-таки это не вся правда. В чем легко убедиться, обратив внимание на еще одну экологическую проблему, резко обострившуюся в России в 90-х.



Как мы видели выше, целый ряд негативных явлений, традиционно связываемых с «лихими 90-ми», на самом деле начался еще в позднесоветское или по крайней мере перестроечное время. Возможно, это справедливо и по отношению к проблеме обращения с бытовыми отходами. Но точной статистики (если говорить не об объемах производимых отходов, а именно о бытовых стереотипах обращения с ними) не существует, а заметной «на глаз» эта проблема стала именно в 90-е. Обочины шоссе, полосы отчуждения железных дорог, а порой и улицы городов начали на глазах покрываться сплошным слоем мусора. Любой незастроенный овраг, перелесок среди городских кварталов, долина ручья или малой речки превратились в помойку, в любом заметном водоеме — реке, озере, городском пруду — непременно валялись старые покрышки, бутылки и обязательная газовая плита или холодильник. (Причем если водоем использовался для купания, то наибольшая концентрация отбросов наблюдалась именно вокруг наиболее популярных мест захода в воду.) Если жилая застройка граничит с лесом, можно было не сомневаться — полоса вдоль опушки (причем именно со стороны леса) представляет собой свалку. На ветвях деревьев, росших рядом с многоквартирными домами, во множестве развевались тряпки, полиэтиленовые пакеты, магнитные ленты и прочие красноречивые признаки того, что жильцы дома используют окна как альтернативный мусоропровод (в который, разумеется, помимо перечисленного летело и многое другое — просто пустые бутылки или использованные батарейки обычно не застревали в ветвях). Не отставало и сельское население: въезды практически в любую российскую деревню — даже почти лишившуюся постоянного населения — были отмечены самочинными свалками (если в этом месте были какие-нибудь ямы, бросали обычно в них, если нет — просто валили кучей). Подобные несанкционированные свалки быстро плодились и в лесах.

Обычно такое поведение объясняют бескультурьем. На самом деле наши сограждане как раз следуют древней и жесткой культурной норме, предписывающей перемещать отходы только в одном направлении: из более освоенной части пространства — в менее освоенную. Вывоз мусора с места пикника или даже с дачи в город, даже сам внос мешка с уже выброшенным мусором в собственную машину (т. е. перенос из «дикого» пространства в «свое») прямо противоречит этой норме — и потому психологически ощущается как нечто противоестественное и невозможное. Зато наша психология радостно откликается на идею мгновенно убрать раздражающие взор отходы с глаз долой — желательно за какую-нибудь очевидную *границу*: за дорогу, за кусты, за околицу деревни, за линию опушки. А лучше всего в воду: бульк — и отбросы мгновенно исчезают, поглощенные чуждой стихией. Отсюда и заваленные мусором опушки и овражки, и непременные плиты и холодильники в водоемах<sup>8</sup>.

Автору этих строк не раз случалось убеждать разного рода любителей отдыха на природе забирать свои отходы с собой. Мои собеседники были вполне культурными людьми, некоторые из них даже сами затевали этот разговор, спрашивая, как лучше поступить с мусором или сетуя на растущую загаженность любимых мест. Часто они располагали автомашиной, в которой было достаточно места, и пластиковыми мешками, позволяющими исключить контакт отходов с машиной. И тем не менее первой реакцией обычно было глубокое удивление, недоверие и даже обида. И даже если в ходе разговора собеседник соглашался забрать мусор, никогда нельзя было быть уверенным, что он в самом деле это сделает, а не сунет мешок с отбросами в кусты или не довезет только до ближайшей ямы за пределами прямой видимости. И мои коллеги подтверждают распространенность такого отношения.

---

<sup>8</sup> Вероятно, та же подсознательная установка (наряду с другими причинами) подталкивает руководителей крупных российских городов к решению проблемы отходов с помощью мусоросжигательных заводов. Такие предприятия недешевы, крайне непопулярны у населения и действительно экологически небезопасны. Но небо — это заведомо «дикое», никак не освоенное и никому не принадлежащее пространство, и идея отправить отходы напрямик туда часто перевешивает все рациональные соображения.

Разумеется, эта глубинная подсознательная норма свойственна не только жителям России. Исторически недавно примерно так же обращались с отходами и жители самых развитых стран. Но ситуация в России имеет по крайней мере две особенности, которые затрудняют прямое заимствование опыта этих стран.

Во-первых, падение «железного занавеса» и экономические реформы открыли страну для потока импортных потребительских товаров, вместе с которыми хлынул и поток упаковки — в основном пластиковой. Сколько бы ни служил потребителю сам товар — будь то порция мороженого, съедаемая в первые минуты после покупки, или служащая десятилетиями бытовая техника — его упаковка идет в отходы немедленно после приобретения. Подавляющее большинство видов пластика (в том числе практически все, используемые для упаковки продуктов питания) химически довольно инертно — а значит, очень медленно разлагается. Сочетание этих факторов приводит к накоплению огромного (особенно в объемном исчислении, так как пластик обычно еще и сильно разрыхляет общую массу отходов) количеству бытового мусора. Эта проблема встала в свое время перед всеми развитыми странами и нельзя сказать, что она в них сегодня успешно решена. Но все же в Европе, Северной Америке или Японии у общества было время на адаптацию своих бытовых стандартов и привычек к новым условиям. На Россию (как и на многие другие страны, население которых получило доступ к «современному» ширпотребу недавно) новые материалы свалились сразу в огромном количестве. Оказалось, что можно очень быстро насытить всю страну, допустим, «Кока-Колой» в пластиковых бутылках или йогуртом «Данон» в фирменных стаканчиках, почти так же быстро наладить производство этих и подобных им продуктов в самой России — а вот соответствующие бытовые привычки потребителей нельзя ни закупить, ни произвести на месте по лицензии.

Но главная проблема даже не в этом. В развитых странах проблему бытовых отходов удалось если не решить, то все же значительно смягчить благодаря тому, что их население имеет давнюю, выработанную веками традицию самоорганизации и коллективных действий (в ходе которых неизбежно вырабатываются коллективные же нормы поведения). Конечно, в крупных современных городах эти механизмы оказались значительно ослаблены, но все же не уничтожены полностью. Кроме того, в этих странах существует определенный уровень доверия населения к власти — по крайней мере, местной, — и потому исходящие от нее запреты и ограничения воспринимаются более или менее с пониманием. В России же 90-х годов, как выяснилось, любые механизмы неродственной (соседской, корпоративной и т. д.) солидарности оказались почти полностью парализованными. Власть же по-прежнему воспринималась как сила чуждая и в общем случае скорее враждебная, которой иногда приходится подчиняться, но перед которой нет никаких моральных обязательств. В самом деле, если местный муниципалитет ведет переговоры с ближайшим мегаполисом о размещении на своей территории очередного *полигона твердых бытовых отходов* (т. е. мусорной свалки) — можно ли всерьез относиться к исходящим от него призывам и предписаниям не бросать мусор где попало?

Разумеется, такое положение возникло не в результате экономических реформ: граждан СССР десятилетиями отучали от проявления инициативы и тем более — от попыток самоорганизации. (Хотя нельзя не отметить, что крушение советского уклада усугубило эту ситуацию дополнительно, породив *аномию* — отсутствие или явный дефицит повседневных норм, которые принимаются «по умолчанию» абсолютным большинством общества.) Их влияние на проблему бытовых отходов можно скорее заметить на способах обращения с мусором, уже находящимся в местах первичного сбора. Тут тоже в 90-е годы было немало проблем, связанных с тем, что прежние схемы организации переработки и захоронения мусора, основанные на административных отношениях, в новых социально-экономических условиях оказались неприменимы, а наладить эту работу на рыночных основах оказалось не так-то просто. Основная трудность заключалась в том, что и за вывоз мусора, и за его прием и размещение на полигоне нужно было платить, а поскольку сам по себе мусор никому не нужен, у перевозчика всегда был соблазн не везти его на полигон, а свалить в первом

попавшемся по дороге лесу (самовольные свалки такого рода вокруг крупных городов в 90-е плодились и росли одна за другой). Это потребовало создания системы сквозного контроля всей цепочки, которая, как и следовало ожидать, оказалась довольно громоздкой. Со временем эту проблему в крупных городах удалось решить, но к этому времени встала проблема переполнения полигонов. Попытки решить ее традиционными (т. е. экстенсивными) путями привели к росту социального напряжения, в некоторых местах (в Волоколамске, в Архангельской области) выливавшегося в социальные взрывы. Однако этот поворот сюжета разворачивался уже в другую эпоху и в другой социально-политической ситуации, так что здесь мы не будем его рассматривать.

Нам сейчас важно то, что проблема обращения с бытовыми отходами стала своего рода контрольным экспериментом к другим массовым экологическим нарушениям, охватившим в 90-е годы Россию. Горы и поля мусора, выросшие «от Москвы до самых до окраин», никак нельзя списать на обнищание населения и необходимость как-то выживать. А это наводит на мысль, что и прочие массовые экологические нарушения — браконьерство, незаконные рубки и прочие проявления экологического нигилизма (в частности, поджоги сухой травы, каждую весну окутывающие Россию сплошной дымовой завесой) — вызваны не падением жизненного уровня вследствие экономических реформ или, по крайней мере, не только им. Они порождены куда более мощными и долгосрочными факторами. Среди таковых прежде всего нужно назвать глубочайшее культурно-психологическое отчуждение огромной части жителей России друг от друга и от того места, где они живут (деревни, города, района), слабую способность к самоорганизации и совместным конструктивным действиям, а также глубоко укоренившееся нежелание принимать на себя какую-либо ответственность — в том числе и за локальную экологическую ситуацию. С этой точки зрения протесты против тех или иных проектов властей, корпораций и вообще каких-либо неместных структур, даже самые обоснованные и справедливые, выглядят скорее как защита своего *исключительного права на неограниченную и безответственную эксплуатацию природы*, чем как защита самой природы.

Изменить такое отношение — дело небыстрое и непростое, это невозможно сделать ни принятием «правильного» закона, ни созданием специализированного ведомства, ни закупкой передовых технологий. Вероятно, оно вообще возможно только в рамках формирования полноценного гражданского общества — причем не только в крупнейших городах, а везде, где живут люди. Но даже и при этом желаемые изменения вряд ли произойдут автоматически, сами собой (как сами собой восстанавливаются леса на заброшенных полях), а потребуют серьезной работы и прежде всего — изучения и осмысления проблемы. Между тем пока что ни государственные природоохранные структуры, ни экологические активисты вообще не замечают культурно-психологического аспекта охраны окружающей среды. Первые (в тех случаях, когда они действительно пытаются выполнить свои обязанности) рассматривают любые экологические проблемы с точки зрения инженерной, административно-управленческой, экономической, юридической — но не гуманитарной и обычно стараются свести участие населения в решении этих проблем к минимуму либо просто предписать жителям тот или иной образ действий. Вторые в подавляющем большинстве явно или неявно исходят из аксиомы, что местное население — всегда страдающее, никогда ни в чем не виноватое и «по умолчанию» настроенное проэкологически, а любые угрозы окружающей среде могут исходить только от властей или от бизнеса.

## 7.8. Двадцать лет спустя

1990-е годы, на которые пришлось резкие социально-экономические перемены в жизни страны, сегодня уже история — от их окончания нас отделяет более 20 лет. Сменившая их эпоха с самого начала ознаменовалась резким изменением государственной экологической политики. Одним из первых действий Владимира Путина на посту президента

РФ стало упразднение в мае 2000 года самостоятельного федерального природоохранного ведомства и передача его полномочий Министерству природных ресурсов. За этим последовало ослабление экологических норм в законодательстве (в том числе законодательного запрета на засекречивание экологической информации), фактическое упразднение самого института государственной экологической экспертизы (она сохранена только для некоторых категорий проектов) и сокращение возможностей текущего экологического контроля деятельности предприятий. Последовательно ограничиваются возможности населения влиять на принятие тех или иных решений, могущих иметь серьезные экологические последствия. Возобновлено крупное гидростроительство — в том числе в районах, где нет дефицита электроэнергии. Разрабатываются новые масштабные (и потенциально опасные) технические проекты и рассматривается возможность реанимации старых (в том числе одиозный проект «поворота рек»). Отдельные жесты в сторону экологии (долгожданное закрытие Байкальского ЦБК, нормализация финансирования заповедников и национальных парков, успешная реализация ряда проектов по восстановлению редких видов и личное участие в некоторых из них главы государства) не могут изменить общей картины глубокой *деэкологизации* государственного управления и экономики. У многих заинтересованных наблюдателей сложилось впечатление, что «все пропало»: все положительные процессы, происходившие в 90-е, остановлены и даже обращены вспять, а все отрицательные только усугубились.

Что же осталось, когда все пропало?

Оказывается, не так уж мало. Несмотря на изменившуюся обстановку, сегодня ни одна сколько-нибудь крупная российская компания не может себе позволить вовсе игнорировать экологические требования, как это делали советские ведомства-корпорации. В экологической политике российских корпораций немало имитации, показухи, «потемкинских деревень» (вплоть до создания подставных «общественных экологических организаций», имитирующих «общественное одобрение» проектов компании-хозяина или организующих информационные наезды на конкурентов), но все же сегодня все новые производства и промыслы имеют хоть какие-то средства защиты окружающей среды, а кое-где удается хотя бы частично нейтрализовать тяжелое экологическое наследие советских времен — рекультивировать места нефтяных разливов, решить проблему поселений, оказавшихся на пути радиоактивного облака после Кыштымского выброса 1957 года и т. д. Несмотря на попытки государства и «хозяйствующих субъектов» закрыть информацию о состоянии окружающей среды, эта информация в основном остается доступной для исследователей и общественности, а благодаря современным информационным технологиям ее полнота и возможности ее верификации постепенно растут. В стране продолжают действовать высококвалифицированные негосударственные профессиональные экологические организации — как национальные отделения наиболее авторитетных международных организаций (прежде всего WWF и Greenpeace), так и чисто российские — такие, как Центр охраны дикой природы (ЦОДП), нижегородский экологический центр «Дронт» и многие другие. Развивается сотрудничество таких организаций с крупным лесным бизнесом, тенденция к налаживанию диалога заметна и в ряде других отраслей. В тех же случаях, когда бизнес (как правило, тесно аффилированный с властью того или иного уровня) пытается игнорировать вопросы охраны окружающей среды, это вызывает мощное общественное противодействие, что оборачивается для таких проектов дополнительными рисками. В ответ на попытки силой подавить протестные выступления или устроить вокруг них информационную блокаду активисты находят новые способы быть услышанными. В итоге хотя бы самые антиэкологичные решения удается предотвратить, как это было с первоначальной трассой трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» или совсем недавно с проектом создания возле архангельского поселка Шиес полигона для московских бытовых и промышленных отходов. Наконец, в последние годы сами власти обратили внимание на такие острые и масштабные экологические проблемы, как травяные палы и распространение борщевика Сосновского. Правда, их действия в этом направлении пока

отличаются глубокой и неустранимой неэффективностью, но важно уже само признание наличия проблем.

Но самая важная и отрадная тенденция, пожалуй, заключается в некоторых признаках появления в обществе ростков самоорганизации и ответственности. Пожалуй, наиболее яркий пример этого — развитие волонтерского движения, наглядно показавшего свои возможности дымным летом 2010 года. Но борьба с огнем, экологические субботники в городских лесопарках и другие заметные извне действия — лишь часть проявлений растущей способности общества к конструктивным совместным действиям. Все больше жителей России отходят от патерналистских упований на «начальство» (и их оборотной стороны — позиции «да что мы можем против них?») и ощущают собственные возможности и собственную ответственность — в том числе и за состояние окружающей среды. И это, возможно, самые важные долгосрочные последствия экономических реформ 1990-х годов.

Если попытаться выразить одной фразой, как сказались экономические преобразования на состоянии окружающей среды, то ее можно будет сформулировать так: рыночные реформы не решили экологических проблем (а в некоторых случаях даже обострили их), но они *открыли возможность* для их решения.